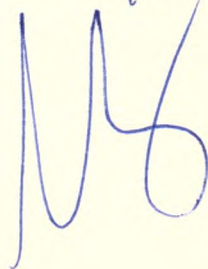


Владимир Рыбаков

ТЯЖЕСТЬ

Equus Muscivorus,
Spizy Sabreay
Yance
Om

Damon
P. S. S. S. S.
Nouveau
20.11.84.





Владимир Рыбаков

ТЯЖЕСТЬ

Б ы л ь

ПОСЕВ

© Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., 1977
Frankfurt / Main
Printed in Germany

Я стоял на посту, нюхал устоявшуюся пыль каральной шубы, глядел на далекие и близкие сопки, сливающиеся в мареве, и думал, что где-то за тысячи и тысячи километров есть Франция, страна, где я родился, где наверняка не таскают на посту такой тяжелой шубы — тепло там, наверно. И я должен был туда уехать, но вместо этого стою на посту... и какая-то сволочь украла из моего завтрака два куска сахара. Вот бы узнать, кто?.. Вот бы узнать...

Снег под ногами воспаленно блестел, но там, дальше, на склонах сопок, ветер сметал его, обнажая землю Уссурийского края, свистящую ветром зимой и удушливо гнилую летом. Вот тебе и Франция! Она почему-то на посту представлялась то швейцарским пейзажем, то голландской коровой, спокойной, даже не отмахивающейся хвостом от назойливых мух. Видения какие-то, а не мечты. А вот военком, его морда, которую будто вырубили в моей памяти — это уж самая что ни на есть реальность. Как он мне врезал:

— Французский паспорт? Плевать я на него хотел! В Париж захотел? А Воркуту не хошь? Я пошлю тебя туда, где двенадцать месяцев зима, остальные — осень!

И послал.

Снег каменел от ледяного ветра, трещал и местами под лучами еще не появившегося солнца грязно желтел землей, вызывавшей холод в груди. Я стал

орать, стараясь заглушить визжащий провод над головой:

«Девушка пела в церковном хоре
О всех уставших в чужом краю,
О...»

Рядом со мной появилась прозябшая девчонка с красными руками в пупырышках, в уродливом белом платье. У нее было жалкое лицо, и мне захотелось ее пристрелить. Это не было наваждением. Я рисовал эту девчонку штыком на снегу. И те два куса сахара тоже грызли мое воображение.

Колыхание колючей проволоки нарушило привычный вой ветра, холод земли, визгливое бормотание проводов, скрип столбов. Я встретил пролезшую под нее фигуру нарочито суровыми словами с ноткой зависти, нелепо повисшими в шумящем воздухе:

— Так что, твой командир стоит вместо тебя на посту, а ты в хате свой пот с бабьего тела слизываешь, а?

Фигура отупело вытаращила глаза и стыдливо проворчала:

— Ты же разрешил... я ведь... ты же разрешил.

— Знаю, иначе... (Глаза его испуганно мигнули; ветер насквозь пронизывал его шинель, тело на глазах теряло гибкость.) Бери шубу, страдалец, давай сапоги, становись, тебе еще двадцать минут стоять. На автомат!

Солнце всходило красное по краям и беловатое в середине, словно отблески мертвеющей души. Что есть доброта, как не настроение, но хочется, до приказа себе, поверить в мягкость естества. Я разрешил ему, а если это он взял сахар? Подумав об этом, как-то нехорошо усмехнулся. С этой застывшей усмешкой вошел через десять минут в караульное помещение. Теплый вонючий воздух хлынул в легкие. Веки стали накатываться на белки, мир стал незначительным, и

ноги сами по себе понесли тело в спальное помещение, где шел согревающий «гороховый бой».

Из ямы сна меня вытолкнул запах анаши¹, сладковато-желанный. С тупой злобой вспыхнули мысли: что поленились эти черти выйти из караульного помещения, что кто-нибудь непременно теперь заснет на посту. Растирая лицо, измятое кожаной обивкой топчана, я вошел в помещение для бодрствующей смены и заметил там несколько привычно блаженных лиц — вялые щеки и веселые глаза, блестящие, как у умершего от радости, говорили, что не одну папироску с анашой втянули они в себя.

Сердиться было бессмысленно, оставалось только открыть окно и ждать.

Снежный пар, медленно клубясь, беловато окутывавая маршалов на портретах, висевших на стенах, стал проникать во все углы. Никто не пошевелился (все были старыми курильщиками), глаза по-прежнему излучали безразличное веселье, неискрящееся, гладкое; некоторые изредка вздрагивали, и я сразу понял, что они ко всему еще чифирили². Придет проверка — и всё на мою голову. Начкара³ нет — с баб, сопляк, не слазит. Тут я заметил, что салаги⁴ Мусамбегова в помещении нет. Остатки сна на ресницах исчезли, и, чувствуя в душе желчь, я бросился к выходу. Мусамбегов валялся под окнами «губы»⁵, кто-то уже успел помочиться на него, но ни замерзшая моча на лице, ни веселый хохот в камере губы его не трогали. Бесснежная зима свирепствовала на физиономии Мусамбегова, вздутые мышцы шеи упирали его голову в облупленную стену, до кадыка упал безвольный подбородок, губы криви-

¹ Анаша — наркотик, изготавливающийся из конопли.

² Чифирь — тонизирующее средство, изготавливающееся из чая.

³ Начкар — начальник караула.

⁴ Салага — солдат первого года службы.

⁵ Губа — гауптвахта.

лись хихиканьем, которому не отвечали глаза, медленно мигающие, мерцающие внутренней слепотой. Щемлящая жалость и презрение к новичку охватили меня, я не знал — ударить его или погладить по голове. Но знал, что после истеричного смеха наступает грусть, а после действия анаши — грустное оцепенение, когда мир видится сгустком удобрения, а этот мир — ты.

Мне стало по-детски обидно, и я с радостью ударил «мерцающего» Мусамбегова ногой по ребрам. Он быстро поднял голову и спросил:

— Слышишь, а ведь б... — человек. Ей ведь тоскливо.

Мышцы вокруг его глаз напряглись. Этому девственнику, несмотря на юродивую усмешку, хотелось плакать. Он замерзал без снега под собой, без мысли и жалости к себе, с верой в очеловечивание падших. А я, его командир, его папа римский, могущий сделать все: сгноить работой, уничтожить военным трибуналом, унижить постоянным страхом, — я стоял, мечтал не видеть эту веру, мечтал... пока второй удар моей ноги не разбил ему нос.

Дорога, ведущая в часть, была по-прежнему пуста. Сгорбленные черные деревья вдоль нее нудно размахивали редкими ветвями, над головой, очень далеко, издевательски ярко синело небо. Мусамбегов, послушно подчиняясь моим подзатыльникам, поплелся в сушилку. Захлопывая за ним дверь, я почувствовал затылком полный упрека взгляд Коли Свежнева, белокурого с рыжеватыми глазами новосибирца. Пренебрегая, вышел в коридор, зная, что он поплетется за мной. Протянув мне дорогую сигарету, Свежнев заговорил:

— Почему ты им помогаешь со злобой? Ты же интеллигентный человек — (я чуть не вспыхнул, слушая, с каким удовольствием он произносит слово «интеллигентный»), — должен понять, что злобой ничего не добьешься, злостью, — может быть, но не злобой.

Тяжелые задачи висят на наших плечах, которые...
Ведь деспотизм...

Я усмехнулся, выкидывая его сладкую сигарету.
Доставая папиросу и комочек анаши, прервал его:

— Хватит. Не нужно напоминать, почему тебя исключили из университета. Ты ведь все это говоришь не только думая: «поймет меня», но и с уверенностью: «не выдаст, не накапает». Нашел время и место. Салаги надышались, а он мне тут о демократии, свободе слова. Если я кое в чем кумекаю, если могу спорить с тобой о Бердяеве, так ты уж и решил, что я на тебя похож? Да ты сам по отношению к своей совести маклак.

Я уже не знал, что говорю. Этот караул был тяжелым, да и желчь все еще сидела во мне. Коля покраснел и, вытаскивая бумажку из кармана, тихо воскликнул:

— Нет, я не только болтун, я прекрасно понял, что ты имел в виду, вот послушай.

Страдать не вправе,
Родине долг нужно отдать.
Унизить ее, растоптать,
Если освободить не в силе.

Касты власть зловещая,
Не снимая Христа с креста,
Скрытые громоздит голгофы,
О человеке свободном веща.

Он пропитан капающим словом,
Скован...

— Хватит.

Свежнев умоляюще умолк.

«Вот кто действительно одинок», — подумал я.

— Старая песня. Российская прослойка, болтающаяся куском дерьма в проруби. Народ, видите ли, не понимает твоих высоких дум. Твой парнас... это

не парнас, а парник, где все сгниет от нехватки кислорода.

Свежнев сморщился:

— Нет, ты не понимаешь...

— Хватит. Может, ты так и не думаешь. Заткнись. Ты бы на руках отнес Мусамбегова в кровать и прочел ему ядовитую лекцию, хотя сам утверждаешь в своем плохом стихотворении, что она ничего не дала бы. А он в следующий раз замерзнет или сядет с дисбат. А меня он будет бояться, пока не научится сам свою шкуру спасать. Оставь меня в покое, после поговорим. У меня еще один салага на посту. Молодежь всегда так: первый караул дрожат от страха и ждут китайцев, чтобы во второй дрыхнуть от переутомления. Тебе тоже скоро на пост. Ляг.

Втянув в легкие, минуя горло, дым папироски с анашой, я приободрился. Тело стало легким и послушным, мысли — четкими и нечуткими, словно с закрытыми глазами читаешь таблицу умножения. Нужно было пробежать посты, пока не подоспели офицеры проверки. В комнате для бодрствующей смены, куда зашел взять автомат, всё было спокойно. Окно было закрыто, смена весело сидела и, стуча костяшками домино, напевала:

Анаша, анаша,
Ты меня погубила.
Анаша, анаша,
Ты меня возродила.

Я шел по дороге, изнашивая на ней третью пару сапог, много убеждений и всю свою прежнюю жизнь. Солнце с ослепительным холодом и яркостью освещало мир, все вокруг было черным (жалкие пятна снега лишь подчеркивали это) и очень старым. Казалось, под ветром окаменел сам воздух, так он был колюч и тверд. Из-за разбросанных вдаль и вблизи цепей сопков рождалось впечатление множества горизонтов, не-

реальность которых подсказывала за ними пустоту. Легче было представить конец света, чем это повторение утускляющей глаза мертвой земли. Почему-то человечество решило, что лучше смерть, чем пустота. Ему виднее.

На первом посту стоял Быблев, толстый украинец, уже фазан⁶. Он оказался верующим, и мне было приказано снять у него с груди нательный крест. Это было год назад. Невольное уважение к кресту заставило уговаривать его, но Быблев ревел белугой и не соглашался. Подошел Колька. Бог знает теплоту его слов, я только услышал от этого лицемера, что можно в сердце носить Господа. Быблев подошел ко мне и спросил штатским голосом:

— Товарищ младший сержант, крест этот ко мне от прадеда пришел, можно его сохранить?

В тот вечер, при отбое, когда все поджимали животы, чтобы по команде снять галифе, не расстегивая ремня, дабы уложиться в положенные шестьдесят секунд, он отказался лечь, не помолившись. Я не рассердился, но Быблев должен был понять, что быть похожим на других — естественный способ уцелеть. Он спал четыре часа в сутки, остальные — чистил гальюны⁷, мыл полы, чтобы вечером стоять на своем. Моя растущая симпатия только увеличивала наказание. Я импровизировал формулировки нарядов вне очереди, лишь бы начальство не узнало, что Быблев опирается на религию и религией нарушает дисциплинарный устав Советской армии. И я уже отчаивался вытащить парня, как вновь проскользнул к нему Свежнев. Я облегченно вздохнул: трудно было каждый день за час до отбоя наказывать стукача⁸ роты и удалять

⁶ Фазан — солдат второго года службы.

⁷ Гальюн — уборная.

⁸ Часто в каждом отделении, всегда в каждом взводе есть доносчик.

его из казармы. Теперь Быблев ложился со всеми, чтобы встать ночью (давал дневальному пачку папирос — совет Коли) и, замолив сперва свой грех, прочесть вечернюю молитву.

Однажды я сказал ему:

— Ты знаешь, что надоел мне?

— Нет.

Я нелепо ткнул пальцем в потолок:

— Веришь?

— Верю.

— Почему?

— Потому что верю. Все верят, только многие сами этого не знают.

Хотелось мне тогда протянуть ему руку, но нельзя было, авторитет есть авторитет. Да и боялся, что в последнюю секунду передумаю и стукну его за уверенность.

Быблев стоял у знамени полка в жарко натопленном штабе, где дремота теплом окутывала взгляд опасной истомой. Он не спал. Предупредив его о возможной проверке, сразу направился к посту салаги Кырыгла.

Терлись друг о дружку сапоги, мысли за что-то цеплялись, никак не могли зацепить. Так иногда в дремоте теплая родная рука, занесенная над лицом, превращается в ряды беснующихся спиралей... и исчезает вместе с ними сложившаяся радость.

Пост: завалившийся окопчик, склад, ржавая колючая проволока кругом и возле грибка с телефоном дрыхнувший Кырыгл. Автомат валялся рядом, он даже не лег на него. Сладкий храп, вырывающийся из шубы, заставил меня спокойно улыбнуться, нагнуться, подобрать автомат, размахнуться... но в последнее мгновение передумать и направить удар чуть выше. Приклад обрушился на копчик Кырыгла. Он взвыл и пополз так жалобно, что захотелось ударить еще.

— Встать! Сволочь!

Он не мог, боль толкала его руки, ужас дергал лицо.

— Встать!

Кырыгл увидел мою улыбку и, сдерживая стон, поднялся. Узкие глаза превратились в шелки и смотрели неподвижно с боязливой злобой. Мне захотелось раздавить этого Кырыгла, он должен был уже не выть — пищать. Я сильнее раздвинул губы, чувствуя с неясной тревогой оскал на своем лице:

— Ты знаешь, что положено за сон при выполнении боевого задания?

— Да, но я...

— Знаешь, гад, что тебя ждет?

— Да, но я... Ничего.

«Неужели я похож на мерзавца?» — подумал я, рассматривая худое личико, на котором теперь, кроме злобы, ничего нельзя было разобрать. Протянул ему автомат:

— Бери пока, идем, проверим печати. Может, пока ты спал, китайцы забрали все барахло. — И, взглянув на нетерпеливо дрожащие руки Кырыгла, добавил: — Иди вперед.

Печати, само собой, были в порядке. Взяв Кырыгла за воротник шубы, в которой он утопал, встряхнул и сказал с издевкой:

— Что, застрелить хочешь? Хочешь?! Дурак. Становись, но если еще раз...

Нервы дрогнули раньше возникшего желания показать ему спину. Мои ноги сошли с караульной тропы и направились к полковой кочегарке. Человек, берущий впервые по долгу службы оружие, всегда чувствует, что им можно только драться, не убивать. Зная это, повернулся к нему спиной и, вспоминая только о мечтах, медленно направился к грязным дверям кочегарки, испытывая беспокойство от режущей портянки на ноге, ощущая холод в затылке, пот на спине и

радость, радость спокойного страха. Мне было очень жарко, когда я вошел во владения Валентины Большегородской. Приветствуя Валентину, подумал, что пережил счастье:

— Живем, корова.

Она, показывая редкую макушку, ответила скороговоркой:

— Эге, лягем на разогрев?

Татуированные ее руки ловко швыряли лопату за лопатой в тепло топки. Плоское лицо без ресниц и бровей дрожало в такт броскам обвислыми большими щеками; между ними торчало подобие носа, перебитое, сплющенное. Безгрудое костлявое тело. Я видел эту грязную грудку стонавшей под розовым восемнадцатилетним телом, матерившейся в пароксизме, и ее заскорузлые, раздавленные работой руки покрывали всю прозрачную спину мальчишки.

Вспоминая, хотелось ощутить отвращение. Ничего не получилось. А что, подумалось, может быть, она тоже человек, вон какая у нее белозубая улыбка и губы красивые. Ткнув Большегородскую в нос пальцем, спросил:

— Кто это тебя так разделал?

— Энтакие, как ты, ногами били, чтоб никому больше не досталась. Долго били, а я все равно достаюсь. Хошь, тебе тоже. Три позы знаю.

Она повертела головой и почмокала губами.

Не отвечая, лег на лавку; усталость хлынула в тело, закружила медленно мысли: человек... свобода... слова, а столько лишних хлопот.

Неслышно подошла Валентина, пробежала пальцами по ширинке. Ударил ее — она отлетела к куче угля, сморщилась, раздвинула ноги. Рассмеялась. Мои мысли все спокойно кружились, как слепая лошадь вокруг поливального колеса: свобода, погода, скачка, поломка, починка, крамола...

Рука достала из кармана лист бумаги, карандаш и принялась догонять закружившуюся мысль.

«Из сердца старого скупого однажды полились слова: у меня пороки и порок, порог небытия недалеко, о чем же думает голова? Ищет колокол и вече. Или нашла еще один зарок не впрок, аль несправедливостей еще не до отвала? Или наскучила призывов хвала? Может, в России советской что неладно? Уж и полвека с тех пор отзвенело, как плакат звонко и заледенело за-виделся бабке тьмой портянок на теплой ноге, как обещали всё нам яростно-нежно, как стали давать нам всё плано-ясно, и требовать с кожей всё стали на дружеской ноге. Глупая, наверное, эта голова: ищет причины своего износа, понимания своего озноба, а может, и Божьего слова. И смотрит куда-то вперед! хотя наперед, хоть и не позёр, не видит ее взор никакого утешения. Понять бы ей самое себя. Давно бы пора. О чем же еще думать может эта голова? Что она устала, что коммунизма слава и жажда — пустая трата народного мяса, которая никогда не касалась плана. И что свобода, как погода, шлет перистые облака, зовущие открыть молнии ворота; они отворились, и за блеском мрака мрачная пора наступала, наступила, унижений страда пришла, власти громадная стопа придавила полотна, размер столпа, все правды искорежила, и кровь души народа потекла. И вновь свобода, как погода, шлет перистые облака, зовущие открыть молнии ворота... и всё насмешливее шепчутся облака».

Я сидел оцепенев, пока меня не нашло время. Опомнившись, с удивлением взглянул на руку, мелко скребущую гладкую лавку, другая со странным трудом держала карандаш. Листок упал, глаза с недоумением следили за ним, а рука судорожно схватила, смяла его, сунула в карман и, словно ища успокоения, потянулась за автоматом. Жара кочегарки уже угнетала, сушила,

витала над моей душевной усталостью, тающей, текущей. Возле двери вспомнил и сказал:

— Будь здорова, Валентина.

Ее голос ответил:

— Буду, заходи.

2

Я смотрел себе под ноги; хрустел снег на все лады, хрустел вчерашним и завтрашним хрустом, а весной дорога будет грязно хрипеть, потом стучать, а грусти нет, только вот злоба почему-то тихонько хлюпает... запретить бы ей... Вместе с чувством пустой радости приближается и вырастает караульное помещение, старое, серое и очень свое. Я остановился, сжег бумажку, нашел ветер и кинул в него пепел. Толкнул дверь с тупым облегчением. Спросил:

— Начкар пришел?

Лейтенант Чичко сидел в своей комнатухе, нетерпеливый. Глаза синеватыми опускающимися веками говорят о бессоннице, сапоги блестят, кокарда торчит ровно над носом. Увидев меня, он радостно воскликнул:

— Мальцев! Ну как, была проверка?.. Слава Аллаху! Скажу тебе, нынче не баба попалась, а гнилой стог сена. Все здесь трухлявое... Да что там... Бывало в Москве... Китайцы вот... Устал, Святослав?

Чичко постарался с участием взглянуть на меня. Я не чувствовал ни жалости, ни раздражения, глядя на него; вспомнил почти с грустью лейтенанта, которого убил. А Чичко... Что Чичко?! Работал себе в колхозе, смеялся над людьми, спящими на простынях, по ночам глушил рыбу в ставках соседнего колхоза, мечтал получить паспорт, уйти в город и щелкал пальцем по фотографии Останкинской башни, пока не явился вербовщик в заманчивой лётной форме, с грудью, усыпан-

ной значками, с клейкими словами об училище в Москве, где на гауптвахте сидел Пушкин. Чичко слышал о Пушкине в школе, и ему стало приятно, что можно говорить с лётчиком о человеке с кудряшками на голове, странное лицо которого он часами рассматривал на обложке учебника. У Чичко стало в груди таинственно. Он закивал головой и развесил уши.

Три года в училище ходил по струнке, печатал шаг, напичканный глупостями о солдате, в первые увольнения слюнявил от восторга к себе и своему мундиру московские мостовые, чтобы в следующие искать укромное парадное, могущее приютить его с бутылкой, прижатой к жадному рту. И явился двухзвездный салага-установник в часть, чтобы уже через месяц догадаться, что без сержанта он — не лейтенант и не командир взвода. Вот он и выламывается: «Святослав»...

Было скучно слушать его комканые фразы, невольно стеречь телячьи глаза, запачканные тоской. И я уже по привычке стал смотреть поверх головы Чичко на портрет Ленина, взгляд которого упирался сквозь паутину мне прямо в лоб. Часто в ленинской комнате я смотрел на эти глаза, окружающие меня со всех сторон, с четырех стен, независимо от выражения лица смотревшие одинаково; глаза цепкие, не русские, не с лукавинкой, а с мощной хитростью. Я был маленьким перед ними, они напоминали страшный приказ. Очень редко смотрел на них с той жалостью, с какой всматриваются в судьбу крупного неудачника, чаще чувствовал к ним ненавистное мне самому уважение.

— Ладно, — сказал я, — спи, лейтенант, спи, только вот портрет Владимира Ильича стоило бы избавить от пыли, а то, чего доброго, Рубинчик войдет — вряд ли парторг будет доволен, если заметит.

Чичко вздрогнул, и я с радостью увидел, как соскальзывает с его лица сон, как телячьи глаза стано-

вятся свинячьими. Испытывая к портрету уважение, вышел в помещение для бодрствующей смены.

Кырыгл сидел, скрючившись, возле печки, новая гимнастерка топорщилась, глаза с мертвым упорством упирались в пол, тело вздрагивало от боли при каждом движении. Легкая судорога избороздила его лицо при моем появлении. Мое лицо, не совсем ясно, быть может, для него самого, ударило Кырыгла пожирающей ненавистью.

Мне ли было его не понять: свалившиеся на него непривычные унижения и их прожигающая нутро огорченность, всеобщее презрение, своей плотностью невольно внушающее ему острое уважение к самому себе, и — одиночество в одиночестве этой нелепой, еще хрустящей хлопчатобумажной гимнастерки. И все страхи, все рухнувшие надежды на быструю дружбу суровых мужчин в мире какого-то долга, внезапное чувство смертельной злобы к почти ровеснику с двумя лычками на погонах, берущему равнодушно лучшие куски пищи в столовой; к новому миру, поясняющему старый так, что и не понять, не найти концов... И всё, нашедшее выхлест — временный, но выхлест — на мне.

Мне ли не понять его?!

«Видно, не доконал Кырыгла», — подумал я, бросая в его, сцепившуюся с моей, жизнь слова, заставившие его грудь заполнить все пустые промежутки гимнастерки:

— Если ты так глуп, что не можешь выучить устав, то хватай швабру и надрай полы... живее! — И обратившись к равнодушному парню из-под Свердловска, Боголову: — Никита, разводящий твердо стал на ноги? Ты проследи, он из второй роты.

Боголов кивнул головой. До шести вечера я был помначкара. Впереди, наконец, был сон, позади — двадцать часов холода вперемежку с теплом. Удушливый, спертый воздух комнаты для отдыхающей смены,

вонь портянок, привычно набросили на тело саван, в который я закутался с последней мыслью, что можно вычеркнуть еще одни сутки, отдаляющие от дембеля⁹.

Солдат спит — служба идет: эта истина пронизывает всю службу, обожествляя пружинную кровать. Выводя на конверте обратный адрес: Уссурийский край, село Покровка, в/ч 763438, — я всегда думал о сладостном безличии моей кровати, и во мне быстро растекалось приятное чувство, похожее на воздух под одеялом.

Кадрированная артиллерийская часть, носившая этот самый номер на своем знамени, шишом торчала на далеком отшибе села. Она была окружена военным городком, на холме над рекой возвышался серой глыбой этажей «Чикаго» (ансамбль офицерских домов), прозванный так за боязнь самовольщиков проскальзывать мимо него. «Чикаго» по-собачьи стерег выход из части и кусок дороги, ведущей к селу. И только поздней осенью, когда день устает к четырем часам, можно было проскользнуть мимо «Чикаго», в окнах которого бдительно скучали офицерские жены, к сельмагу за бутылкой спирта.

Это была единственная дорога — желтая летом, черная зимой — ведущая кого к алкогольному забытию, кого к той душевной теплоте, которую способна влить только женщина. Дорогу, по которой монотонно тряслись грузовики, угрюмой бороздой пересекала тропа. Это была тропа-тупик: один конец — КПП¹⁰, другой — караульное помещение. Начала же не было.

Равномерный звук печатаемых шагов новой смены караула заставил Колю Свежнева разбудить меня:

— Проснись, отец командир! Иди отчитывайся за инвентарь, — кажется, одной кружки не хватает, новое общество строится на сознательности.

⁹ Дембель — демобилизация.

¹⁰ КПП — контрольно-пропускной пункт части.

Не хотелось открывать глаза, во рту было кисло и клейко, придавленное к топчану собственным весом тело не хотело оживать, мысли были зажаты желанием остаться во тьме.

Кружка нашлась после рвущих нервы поисков в сушилке (цифирщики в сердечном возбуждении оставили ее там), зато все шахматы остались на месте — нет худа без добра. Поглаживая помятое лицо, я вышел во двор на построение. Чичко проверял с новым начкаром Ломоносовым наличие губарей на губе. Ломоносов был грузным мужиком тридцати лет, по слухам служил раньше в дисбате, а перевели его за пьянство и чрезмерное рукоприкладство. Когда сердился, то завывал, взвинчиваясь: «Макаки! В кле-е-тку-у!» Салаг иногда бил, но с опаской, со стариками же только ругался. Командир второго взвода третьей роты Ломоносов знал: если старики сами его втихомолку не ухлопают, то за них это сделают их друзья, гражданские, в селе. Офицеры не любили и сторонились его, он был для них не боевым офицером, а выполнявшим черную работу человеком, на которого напялили офицерский мундир, тупоголовым мясником. Солдатам же он был безразличен: чаще, чем другие, говорит, что думает — и всё.

Наконец, Чичко скомандовал, и мы устало зашаркали к другому концу тупика. Мусамбегов, крутя распухшим носом, благодарно смотрел на меня: ему сказали, что я спас ему жизнь. На КПП, пропуская нас, скалила зубы новая смена, радуясь близости дороги и в надежде увидеть на ней много интересного. Ноги невольно спешат к казарме, автомат после суток грузом режет плечо. Оружейка¹¹. Я захожу (разумеется, после дежурного по роте, у которого ключи), раздаю дощечки — в каждой из них дырки для тридцати патронов рожка плюс запасной рожок — каждый должен

¹¹ Оружейка — комната для оружия, одна на каждую роту.

сдать две полных дощечки, только после этого можно считать караул действительно позади. Поручив Быблеву проследить за чисткой оружия, пошел с Колей в библиотеку. Шли по дорожкам невольно в шаг, редкие деревья прозябали, окруженные со всех сторон металлическими щитами с надписями, с лицами — такими привычными, что мнилось, эти щиты здесь пустили ростки и вымахали, а деревья кто-то для красоты привез, для искусственности.

— Я сосчитал изображения Ленина в части, их 1724.

Свежнев говорил, будто бросал слова в колодец. Мне стало неприятно от схожести наших мыслей.

Мы подходили к Дому офицеров.

— Коля, — сказал я, — не размышляй вслух, это вредно.

Он схватил погон моей шинели.

— Святослав, я знаю, ты не малодушен, доверяй мне, как я доверяю тебе; я иногда чувствую — лопну, столько тайн во мне, они то скрипят, то бушуют. И ты задыхаешься, вижу, анашу вот тянешь.

Я театрально махнул рукой:

— Пьян да умен — два угодья в нем. Не вырывайся из серости. Где есть только она — не вырвешься. Не сравнивай себя с другими, не гордись внутренней свободой, ты не знаешь силу устава, он все равно тебя свалит, никто не поможет.

Мы часто повторяли друг другу подобные фразы, обволакивающие уши, уносящие нас на мгновенья куда-то далеко, где, кроме приятного звучания, не было ничего. И лишь оставался осадок, какого не бывает от небывальщины. Свежнев словно хотел мне что-то сказать и не мог, а я мог, но не хотел.

Дом офицеров напоминал ванную комнату — настолько однообразной была его чистота. Прямые коридоры, линии ковриков, тянущиеся так ровно и четко, что казалось, им прикажут — поднимутся в воздух

и отдадут честь. Кадрированные части обладают своими специфическими особенностями: первая из них — полный офицерский и «четвертной» штат солдат, то есть два офицера на одного срочника. А часть должна быть боеспособной, орудия должны блеснуть и смотреть в сторону Китая, караульная, кухонная и другие службы должны катиться по ровному кругу без сучка и задоринки при этой прорве офицеров, воющих от тоски и скуки, завидующих крупнозвездочникам и отчасти поэтому после каждой бутылки спирта зовущих войну.

Дом офицеров — трехэтажное строение сталинской эпохи с чопорными круглыми колоннами — всегда пустовал, исключая дни собраний и праздников, когда на его экране шли фильмы типа «Секретарь райкома». На втором этаже была библиотека, а в ней Света, библиотекарша. Поднимаясь с Колей по лестнице, невольно бросил голодный взгляд наверх. Коля перехватил его, понял:

— И что ты нашел в этой стерве? Слизь ведь, шлюха, как ты можешь с такой после Тани.

Я не моргнул при напоминании о Тане, связывавшем меня с лейтенантом Осокиным, который умер год назад в Сосновке... Света... Меня тянуло к ней, к существу, — лишенному ощутимой формы, гладкому и скользкому, с красивыми, но неприятными от мелкости чертами лица, — выискивающему грязь там, где, казалось, крупницы не втиснешь. Да, я был для нее, офицерской шлюхи, интереснее других — не только «французом», она была неглупа, — а метисом, рожденным двумя цивилизациями. Возможно, Света в чем-то была права... Таня, бывало, повторяла: «Ты иногда более русский, чем русские, иногда — более чужой, чем татарин».

Библиотекарша Света или, как я ее называл, Существо, была словно собрана из различных человеческих кусков. Мозаичен был и ее характер, впитывавший

всё, что попадалось на пути, ничего не выбрасывая: одалживала рубль, могла накапать на солдата после ночи, проведенной с ним, на следующий день навесить его на гауптвахте, чтобы к вечеру ласкать перед решеткой какого-нибудь гражданского, вызывая в губаре черноту злобы и мести. Ее раза два насильовали, однажды надорвали ухо, но презирать так и не смогли. Света давала или отбирала, но никогда ничего не просила. Она часто унижала меня бешенством тела, проявляла по ночам отвратительную фантазию и ни о чем не мечтала.

В библиотеке Светы не было. Возле стола, заваленного военной литературой, стоял Самуил Давыдович Рубинчик, парторг полка, да рылась на книжных полках его жена, полная, с важными глазами.

— Вы не получите книг, — сказал парторг, — пока не будет погашена общая задолженность. Недоста-ча исчисляется двумястами книг; когда они будут на столе, тогда и получите. Или пусть внесут деньги.

Свежнев вспыхнул, во мне же лишь злорадство зашевелилось:

— Товарищ подполковник, вы ведь знаете не хуже меня, что советский воин — лицо материально неот-ветственное, но я всё же заплатил за те две книги, ко-торые у меня украли, и после этого вы хотите, чтобы я нарушил один из заветов Владимира Ильича? Пере-стал учиться? Не читал книг? Мне останется в таком случае написать индивидуальный протест (коллектив-ное прошение — есть нарушение устава) в «Суворов-ский натиск».

Рубинчик сумел скрыть злобу. Он колебался, пол-ковничьи погоны были ему уже обещаны, с ними он переводился в политический аппарат дивизии в Уссу-рийск, а письмо клопа, нагло стоявшего перед ним, могло вызвать вопросы. Худое симпатичное лицо его осталось спокойным:

— Послушай, сержант, ты хитрый, но брось издёвку, ты еще не в своей Франции, смотри, не обожгись, я ведь вижу, Свежнева сталкиваешь с прямого пути в грязь, внушаешь ему разные ненужные мысли. Смотри, если и демобилизуешься, то уедешь последним эшелоном в последний срок. Если демобилизуешься!..

Он не шутил — парторги, которые не матерятся и говорят тихо, не шутят. Коля пытался что-то сказать в мое оправдание, но не смог. Я смотрел в уверенные глаза Рубинчика и думал, что нет, я вылезу из этого дерьма, вылезу и уеду в эту чёртову Францию. Как — не знаю, но уеду, и я не мог отказать себе в удовольствии сказать это парторгу:

— Так точно, товарищ подполковник, только вот марксистская философия гласит, что случай есть неосознанная необходимость, вам ведь в академии преподавали.

Мне терять было нечего. Он улыбнулся, словно я был уже трупом, и ушел. Книги товарищ Рубинчикова нам выдала: парторг, видно, уходя, мигнул ей по-семейному.

Мы вышли в темень военного городка, настроение после остроты разговора и полученного от собственной смелости удовольствия веселило. Утрамбованный сапогами плац виделся алмазным кристалищем из сказки. Густота наступавшей ночи, начинающаяся от носа, шла рембрандтовским фоном к бесконечности, минуя людей и всяческие дрязги.

— Ну что, пойдешь после отбоя к этой дряни?

Колька искал во мне грязь, чтобы оправдаться перед собой за мучительное молчание перед парторгом. Я самодовольно ослабил:

— Эх ты, патриот-молчальник, до сих пор ничему не научился, даже устава толком не знаешь. Я в этом месяце уже сидел на губе. Если сяду во второй раз, то наши милые командиры из любви ко мне уж придума-

ют причину и для третьего срока, а ведь тебе бы давно пора знать, что за три губы в два месяца — дисбат. Нет, я подожду. Хоть ты и никудышный поэт, но все же я запомнил одно твоё творение:

Родина, нам вместе тосковать,
Вместе нам артачиться,
Страхом ямы набивать,
Их засыпать, страдать,
Что страха нет, все хвастаться,
И если нужно — скучать.

Правда, это даже не белые стихи... Так вот, друг кондовый, я предпочитаю пока скучать, у меня, не в пример некоторым, нет утопически-социалистических замашек... молодые славянофилы..., социалисты нового пошиба, пытающиеся из окаменевшего дерьма построить благоуханное общество! Борьба юродивых с азиатским способом производства!.. Предложу-ка я принять тебя в комсомол, и погляжу, как вывернешься.

Я не видел Колиного лица, и мне не было его жаль. Любовь к себе, твердая уверенность в своей осторожности лоснилась.

В казарме было тихо, некоторые исподтишка лакали одеколон, другие подшивали к ужину свежие подворотнички к гимнастеркам. К великой зависти салаг, знающих, что стоит им только коснуться задом запровленной постели, как угроза наряда вне очереди, нависшая над ними перспектива бессонной ночи за скоблением полов осколком стекла, испортит все наслаждение и весь покой неположенного в это время отдыха, — я, старик третьего года службы, лег на койку и задрал ноги. Возникшая в библиотеке вера в удачу медленно распространялась по всему телу, кончики пальцев приятно шевелились, глядя самих себя. Мысли спокойно углубились в память детства. Париж... Десятый округ, площадь Лафайета, улица д'Отвиль 87...

напротив была хлебная лавка, может быть, там всегда был свежий хлеб... необычные выражением лица, жестами, вышагивали люди — потолок вновь замаячил перед глазами, я отогнал его, — и глаза этих людей... они легкие, невесомые, без свинца в зрачках... в них нет знакомого груза, тяготившего собственные, создававшего во всех глазах вокруг меня, даже в самых тупых и ограниченных, тяжкую значительность. Лица же людей на улице д'Отвиль не были бессмысленными или глупыми, но невозможно было зацепиться взглядом за их выражение, они были похожи на чистое небо при плохом настроении... Подумалось, что это было пресыщение, неизвестное им самим. Неужели свобода так хрупка, что трещит без звука?

Эти воспоминания должны были бы раздражать, но улицы были так чисты и люди так опрятны и хорошо одеты, дома столь разнились архитектурно, что нереальность этой прекрасной картины только вприкивала ленивую радость.

— Выходи строиться!

Ужин. Рука привычно проверила ложку за голенищем, желудок гулкой пустотой отозвался — как по команде — приказу выходить строиться. Я шел в строю, другие старики в одиночку пробирались к столовой, рискуя нарваться на дежурного офицера, но предпочитая эту опасность строю — взгляду, упирающемуся в затылок переднего, непроизвольно выкрикиваемой строевой песни.

Столовая: длинный зал с помойным запахом, большие дубовые столы на десять человек, то есть на отделение или расчет орудия. Садись справа налево по старшинству: сержант, старики, фазаны, салаги. Каждый с завистью следил за руками сержанта или старика, делившего пищу. Какой бы кусок хлеба ни дали, всё равно находился больший в руках соседа, каши же давали «на — не хочу». К концу обеда животы вздувались, как у дистрофиков, чтобы через час

голод от бескалорийной пищи вновь появлялся в туго набитых кишках. Норма на масло увеличилась: до 1968 года давали десять грамм, теперь — двадцать. Можно было спросить с некоторой надеждой у повара или у кухонного наряда и добавки компота. Если крали кашу или суп, не обижались, матюгались и шли за новым бачком, но исчезновение сахара или масла вызывало дикий скандал и оправданную в глазах всех беспощадность. Но крали редко, каждый знал, что стоит украсть раз, чтобы это вошло в привычку. «Не укради казенную пищу» было неписанным законом. Два года назад, еще будучи курсантом учебной в/ч 45536 в селе Сергеевка, раз утром я заметил: мои кровные курсантские 3 рубля 80 копеек, выданные мне накануне — улетучились. Дочиста ограбленной оказалась вся рота. Мне было в общем наплевать на три рубля, мне ежемесячно приходили из дому переводы — хватало, но для многих это была единственная надежда выпить, если удастся вырваться из части хотя бы на несколько часов в самоволку. Ненависть к неизвестному вору была молчаливой. Все ждали, никто не говорил о происшествии месяц, пока не подошла следующая получка. Ночью пальцы прижали мой рот, чья-то рука толкнула в плечо. Приподнявшись, я убедился, что сержанты плотно спят. Встав, подошел к молчаливой кучке, суетившейся возле одной из постелей. Поперек нее лежал без сознания человек: Гракпарадзе, грузин из третьего отделения. Его выследили и скрутили на горячем. В вещмешке нашли деньги. Один из курсантов предложил Гракпарадзе задушить, другой притащил откуда-то штык. Все были спокойны. Я предложил выкинуть его в окно. Он и не пикнул. Правда, ему повезло — отделался пятью месяцами госпиталя. Потом дали инвалидность второй группы и полупарализованного отправили домой. Но это уже никого не интересовало, его забыли на второй день. А начальству было выгодно считать происшедшее несчастным

случаем: в самом деле, хорошо бы выглядела часть, воспитывающая и готовящая младший командный состав, имевшая одновременно на шее воровство и покушение на жизнь одного из курсантов, да еще групповое.

Да, «не укради» был единственный пункт из «кодекса строителя коммунизма», который выполнялся, хотя начальству были неприятны неписанные законы и, в частности, этот. Когда офицер отдавал приказ, например, скосить траву за штабом, а салага наивно отвечал, что у него нет косы, то ответ был недвусмыслен: найди, укради и сделай. Но если поймают — губа. Красть можно и нужно, только попадаться нельзя. Мне подобное казалось настолько естественным, что удивление некоторых просто коробило.

Время ужина истекло. Салаги помчались за чаем. Старики спокойно засовывали вылизанные до блеска ложки за голенища и звездой ушанки делали зарубку на столе, отмечающую, что до дембеля одним ужином стало меньше. На столах среди объедков блестели на волнообразных жестяных тарелках селедки. От прикосновения ложкой они разлезались, ощущение же гнили во рту вызывало тошноту даже у стариков. Это тоже считалось естественным, так как кадрированные части снабжались по третьему эшелону. По первому шли лётные, ракетные и прочие части, а у подводников была, кажется, вообще какая-то особая норма (по этой норме давали мясо, яйца и даже масла и сахару от пуза); по второй норме получали довольствие полнокровные дивизии, отдельные полки с наличием полного состава и все прочее в том же духе (по ней давали два раза в неделю хорошее мясо, настоящую гречку, перловку, манку, больше белого хлеба); по третьей норме давали нам, грешным «принимать пищу» — кадрированным частям, стройбатам и прочей шатти-братии, — а продовольствие по третьему эшелону означало хлебные котлеты три раза в год по праздни-

кам и сечку каждый день. Выгрузив вагон с гречневой крупой, дно вагона подметали, шелуху собирали и отправляли по третьему эшелону. Иногда, правда, давали провонявшее где-то на складе мясо, но его никто не ел, а аккуратно ставили тарелку рядом с селедкой. А в уставе говорится, что если солдат отказывается принимать пищу, то в тот же день об этом должна знать Москва.

3

— Выходи строиться!

Выходили, привычно суровели в строю, печатали первые три шага и шли к казарме, глядя бессмысленно-упорными глазами куда-то вперед. Я чувствовал себя частью этой организованной толпы, шедшей сильно и без особых мыслей.

В солдатском клубе иногда пускали документальные фильмы об учениях солдат блока НАТО. На всех лицах при просмотре была легкая зависть и большое презрение к этим балеринам в полусолдатской форме: выкинуть бы такого желторотика (он и автомат держит, как бабу) на тридцатиградусный мороз, да вместо привычной для него двойной палатки с электрическим обогревом всунуть ему нашу, да еще валенки, что для салага — тогда поглядели бы, как запоеет этот Джон или Франсуа. Оружие у них неплохое, а как мальчишки ведут себя во Вьетнаме — так салагами и остаются: до сих пор не понимают, что в большой войне воюют с удобствами разве что первые полгода, чтобы затем весь комфорт свалился на плечи и психику деморализующим грузом. Потому-то и выдают нам гнилые палатки и испорченные «буржуйки»: знают, что делают!

Мне, в отличие от многих, которым строй надоел, он служил щитом: я переставал существовать в нем, мысли не болели и ничто не искало сомнений. В казар-

му вошел, жадно закуривая, кругом просили друг у друга курнуть и бережно закручивали «козьи ножки», со вкусом матерясь, если газета не клеилась. В Доме офицеров шла кинокомедия. У кого водились деньги — те собирались, обтирались одеколоном. Мне не хотелось, я устало плюхнулся на койку, чувствуя сомнения, раздражающие и глубокие. Какие сомнения? Вновь возиться с образом безупречной родины, бороться с тем, что сам непроизвольно производишь: с хамством, трусостью и безумием выполнения долга. Искать демократию там, где ее не хочет народ? Только в единственной мифологии в мире — в русской — существует «заставушка богатырская, охраняющая кон-границу...», и «ни волк не пробежит, ни ворон не пролетит». Какие там сомнения, когда в нескольких километрах китайцы ходят тем же строем. Они похлеще немцев, еще менее понятны, с гораздо древнее дремлющим расизмом. Их много, они упорны и умеют выполнить приказ. Я невольно отыскал языком гладкое место во рту, где еще несколько месяцев назад благоденствовал коренной зуб...

Это было осенью, лучшим временем года на Усури, когда природа после дождливо-удушливого лета обретает безветренную теплоту солнца и напяливает на себя в радости глубокие цвета.

Когда по окончании караула во дворе караульного помещения появлялся начальник штаба подполковник Евченко и начинал свою речь словом «ребята», это означало, что, вопреки уставу, гласящему, что после выполнения боевого задания солдат имеет право на отдых, нас повезут на работу. Так и было. Только успели сдать оружие — нас запихали в грузовик. Дорога была тошно-тряской. Но привычка и усталость брали свое, многие спали, грузно привзлетая на ухабах. Коля бормотал стихи Есенина, и мелодичность строф

резко рвалась на поворотах. В своей речи перед отправкой Евченко сказал:

— Дело в том, ребята, что макиавеллиевский Китай все же платит нам долги, они не могут отказаться от них, так как мировая общественность на нашей стороне. Мы им строили заводы, они нам платят консервами и кедами. Разгружая, вести себя с достоинством, свойственным советскому воину, в ссоры с китайцами не вступать. За невыполнение — одной губой виновник не отделается. С вами поедет лейтенант Ломоносов. Ужин привезут, обещаю. По машинам!

Станция была безымянной, длинные бараки складов окаймляли пути, занятые двумя внушительными составами. Вдоль вагонов сновали китайцы, на первый взгляд одинаковые, в одного цвета фланелевых куртках и штанах, без погон. На лицо каждого словно была надета старинная улыбающаяся маска, морщинки вокруг узких глаз были безжизненны постоянством. Глубокая неприязнь овладела мной. Я смотрел на эти юркие фигурки и представлял себе, как одна из них несколько месяцев назад подползала к Самуилу Бронштейну (хорошему парню, с которым я любил поболтать в учёбке), стоявшему на посту, и всаживала в его беспечную спину штык. Сколько ребят уже протянули ноги вот так, глупо. И каждым из них мог быть — я. Всегда в спину. И штык был советским. И следы от сапог на месте вели к границе, потом терялись. Следы тоже были от наших кирзовых сапог. Изредка хлопали выстрелы, но ни один китайский труп не был найден. Это бесило. Говорят, что недавно под Хоролом они зарезали, черти, девятерых наших и разбросали по складам мины. Там были оружейные склады, мины, снаряды для «птурсов», глубоко под землей лежало около двух тонн динамита, нитроглицерина (кто его знает, как обзывается вся эта дрянь). Когда начался фейерверк, всю караульную роту вместо того, чтобы вывести за пределы огня, бросили тушить взрываю-

щиеся мины. Каким-то чудом динамит не рассердился от детонации. Погибло то ли 50, то ли 150 человек. Там были многие, кого я знал. Уцелевшие и позвонили. Коля, наивная душа, возмутился тогда, что никто ничего не знает.

Теперь вот улыбаются, а мы должны их не резать, а разгружать ихнюю тушёнку!

Разгрузка шла себе спокойно, ящики были удобные (видно, они тоже, когда на экспорт, на совесть делают). Китайцы смотрели, и все улыбались, лопоча по-своему. А потом стали подходить и цеплять нам свои значки к гимнастеркам. Я с любопытством рассматривал лицо Мао, на другом значке пылало солнце Китая. Ребята посмеивались: вон как дают, политика у них на высоте! Забавно было видеть левую сторону гимнастерки, украшенную значками ВЛКСМ, ГТО, Гвардейским значком, значками специалиста 1, 2 и 3 степеней, а на правой стороне — Мао и китайское солнце.

— Теперь у тебя полный комплект, — сказал я Свежневу, — еще бы что-нибудь троцкистское — и помереть можно.

У Коли желваки только забороздили скулы, неприкрытая ненависть дымчато выходила из глаз. Но он, не срывая значков, молчал.

Лейтенант Ломоносов, увидев ревизионистские значки на груди своих солдат, сиганул в будку к телефону. Красный, как партбилет, яростно вопил он в трубку. К удовольствию китайцев, похлопывающих нас по плечам, мы хохотали, глядя на своего лейтенанта. Сквозь грязное стекло будки было видно, как Ломоносов привычно вытянулся перед трубкой и выдохнул: есть. Вновь собранный, он появился на ступеньке будки с полевой сумкой в руках.

— Товарищи, — гаркнул лейтенант, — я буду проходить, и вы будете бросать в сумку значки, присутствие которых на груди советского солдата по

уставу не разрешается. И смотрите (его голос понизился и засвистел), за утайку... Это приказ!

«Приказ» — слово особое, пресекающее мысли и чувства, нейтрализующее всякое сопротивление, на некоторое время становящееся абсолютным властелином человека, на которого оно обрушивается.

Жалея, что не смогут похвастаться в части, солдаты роняли в сумку солнца, отдаленно напоминающие костры на пионерских значках.

Вечер плясал над головами, а ужин всё не шел: то ли сожрали всё, то ли кухня застряла в пути. Зимой этот край иногда называют краем темного вечера: неплотный сумрак наступал на пятки дню к четырем часам пополудни и плотнел, становясь ночью, только к полуночи, но это виделось тем, чье желание и настроение умело различать тона темноты. Ящики с тушёной наливали руки усталостью, желудки — голодом. Один из ящиков небрежно упал и раскололся. Китайцы тотчас же вынырнули невесть откуда и стали собирать блестящие, аппетитно раскатившиеся по земле жестянки. Раздались нетерпеливые голоса:

— Не цапай, узкоглазая сволочь, не твое уже!

— Не тронь, гад, всё равно возьму.

Знакомый мне голос Коли визгливым фальцетом завопил:

— Они у нас Сибирь забрать хотят! Бей сук!

В развернувшейся драке приняли участие все, кроме лейтенанта, яростно матерившего телефонную трубку, и двух партийных из нашего взвода, поддерживавших своих только голосом, зная, что и за это их не похвалят на партсобрании. Китайцы дрались молча, в руки не брали ни камней, ни палок, сбитые отползали сами. Они были слабее, но их было гораздо больше: один обхватывал противника сзади, другой бил спереди точно в печень, сваливал. Было ясно, что у них был приказ, в случае чего, не калечить. Я был вторым по силе во взводе после Нефедова, моего за-

ряжающего, для которого девяностокилограммовый гаубичный снаряд был легким усилием разворота плеч. Меня доконал зубодробильный удар в челюсть сухонького желтоватого кулака. Нефедов остался стоять, он дрался спокойно, будто работал, и было видно, что никакого удовольствия он не получает от нудного размахивания руками; поэтому, услышав мой голос, он сразу остановился. Китайцы не настаивали.

Ребята вставали: ни одного перебитого ребра, ни одного вывиха, только у меня был выбит коренной зуб, да на лице Нефедова красовался подтек (видно, кто-то высоко подпрыгнул). Китайцы, как раньше, улыбались и прохаживались, но только те, кто остался без царапины, остальные, видимо, спрятались в одном из вагонов. С невольным уважением смотрели мы на эти маски, только начиная догадываться, что это и есть их настоящие лица.

Ко мне подошел, держась рукой за правый бок, Коля. Он не говорил, а цедил сквозь зубы:

— Ты видел? Ты понял? Их убивать надо. Всех. Пока не поздно. Идиоты, опомнятся, поздно будет.

Мне не хотелось думать об этом. Кому нужно, кроме Коли...

Банки из расколотого ящика были съедены и вылизаны. Только через минут двадцать на станцию прибыло два грузовика, набитые ребятами во главе с парторгом Рубинчиком. Китайцы не шелохнулись, словно ничего не заметив продолжали работать. Видимо, парторг мучительно искал выхода из глупого положения, в которое попал по вине этого проклятого лейтенанта, всё не вылезавшего из будки. Ребята с автоматами в руках посмеивались после пережитого в пути страха перед неизвестностью.

Много плащпалаток накинула на себя ночь, когда прибыла походная кухня, набитая липкой холодноватой кашей. После драки и тушёнки, поднявшей нас

над ежедневностью, мы отдавали наш паек прибывшим ребятам.

Рубинчик разносил в будке лейтенанта, ребята, закинув за спины автоматы, важно бубнили проклятья:

— Суки, объявляют боевую тревогу и гонят к границе с пустыми рожками, — хрен его знает, положили бы нас всех здесь, как миленьких!

Меня прорвало. Что-то грубо узаконенное, ясное без объяснений, то цепкое, во что падает приказ, заговорило ненужными мне словами. Могли быть другие. Они были бы верны, и они бы и лгали, потому что иногда нет меры для слов.

— А что? знал бы, что пойдешь и помрешь... убежал бы?

На мой вопрос парень недоуменно пожал плечами:

— Брось, сержант, сам знаешь... полаять уж нельзя?

Осколки во рту, недавно бывшие зубом, щипали язык. Моторы грузовиков уже звали, а я все смотрел в ту сторону, где на фоне пустых вагонов мутнели фигурки китайцев. Они были близки мне, эти враги, в них было много моего, нашего, и я вновь почувствовал неприязнь к Свежневу.

4

Я приоткрыл глаза. В казарме жила тишина, не слышно было солдатского запаха, к лицу тянулся дух натертого пола. Возле входа у тумбочки сидел, дремля на табуретке, дневальный. Время в воспоминаниях тянулось медленно, всё ушло, осталось только ощущение понимания китайцев и странная неприязнь к моему другу Коле Свежневу.

Я поглядел на сгорбившегося на табуретке дневального. В сущности, хорошо ему: с рождения капали в его душу знание, что всё взаимосвязано, он просто

знает, что его будущее вытекает из настоящего и что всегда его права будут лишь статьей в его обязанностях. Ему и не ведомо звучание этих слов, он только знает их выполнение. Я должен влезть в его шкуру, не думать о будущем, о прошлом, они приходят в настоящее упреками, уколами самолюбия. И Коля с вечной божественностью свободы на уме. Нет, я трогать ее хочу. Не занимался бы тогда Коля на собрании поисками справедливости и жаждой стать на минуту единственным свободным в железном мире устава, не гнил бы в наскоро сколоченном гробу Самуил, хороший, не умеющий обижаться парень.

Месяцев шесть обтягивала плечи шинель, когда созвали это собрание. В караулы курсанты учебных рот ходили редко, в основном, по воскресеньям и по праздникам. Караул курсантам казался передышкой от муштры. Случались легкие нарушения: кто сажился на посту, кто курил, кто прятался от мороза и ветра в машину или прислонялся к забору склада. Офицеры были недовольны. Что-то невидимо назревало и тревожило. Был конец ноября. На постах стояли курсанты, в караульном помещении образцово вылизанный пол блестел, бодрствующая смена зубрила уставы, подсчитывала оставшееся до сна время. Я старался забыть о часах, чтобы потом, случайно взглянув на них, блаженно удивиться быстро прошедшему времени.

От двери потянуло сыростью — передернув плечами, поднял глаза. На пороге стоял помначкара Николай Красильников, на плече его висело два автомата, позади понурившись стоял Самуил Бронштейн с уставленными на мир кроличьими глазами. Лицо его морщилось, будто он давился. Красильников снял с плеча автомат Самуила и, повертев в руках, как бы желая отдать его хозяину, сказал:

— Дрых на посту. Сон при выполнении боевого задания, — и обернувшись к Самуилу. — Иди в казарму.

Говорил Красильников глухим, не своим голосом. Я знал, что Николай уважает меня за силу и за умение говорить. Подошел вплотную, зашептал:

— Коля, загубишь парня. Ты же знаешь, кем и чем он выйдет из дисбата. Всю жизнь человеку исковеркаешь. Ты его и так до смерти напугал, пугни еще, но не докладывай, он уже вовек и одного глаза не прикроет на посту.

Бешенство и отчаяние запрыгали по лицу Красильникова, он запнулся раз, и второй, и с глазами, в которых стояли слезы, завопил:

— Не могу! Как вы не понимаете?! Не могу нарушить устав! — При последних словах голос его окреп. — Приказываю вернуться в казарму.

Бронштейн механически отдал честь, по-уставному развернулся и вышел.

Красильников, будто отрывая и медленно выплевывая слова, протянул:

— Всю душу мне испоганил, сволочь.

Через десять минут все забыли о случившемся. Наконец приплелся вечер, и сутки караула бесследно исчезли в ворохе однообразных дней.

В нашей части, расположенной в двух километрах от села Сергеевка, губы не было. Вернувшись из оружейки, я увидел в казарме Самуила. Видимо, решили повременить с арестом. Он в растерянности метался по спальному помещению казармы, ему было страшно от того, что никто ему ничего не приказывал, — даже когда он сел на койку, проходивший мимо офицер только улыбнулся. Самуил повис в пустоте, чувствуя, что чем вокруг него тише, тем она глубже. Ожидание судило, неизвестность коверкала первые же слова самоутешения. Потом страх застыд, сжавшись в тупой комок.

На следующий день после обычной двухчасовой трамбовки плаца вместо того, чтобы отправить в классы, нас повели в ленинскую комнату. Там были командир нашей роты майор Дорошенко и замполит. Самуила вывели и поставили перед сидящей за красными столами ротой, довольной случаю побездельничать: слушать слова для большинства легче, чем разбираться в схемах и искать глупую разницу между диодом и триодом.

Замполит по кличке «Микадо», мирно погладив ежик на круглой голове, громко и сочно артикулируя, начал говорить:

— Товарищи, общеротное собрание объявляю открытым. Я хочу рассказать вам один случай: когда, разгромив гитлеровскую военную махину и освободив Европу, победоносные советские войска вступили в войну против милитаристской Японии и вели бои на захваченной территории, то, товарищи, развернулись жестокие бои. Приходилось брать с боем каждую сопку, окруженную дотами-ансамблями, дзотами, артиллерийскими дотами. Я помню, брали три высоты: 15, 16, 17. Враг окопался и стоял насмерть, смертники бросались под гусеницы наших танков. Командование решило провести артподготовку одновременно с усиленной бомбежкой вражеских позиций, затем в атаку должна была идти прославившаяся в боях с фашистскими захватчиками пехотная дивизия. Аппаратная связи, передавшая приказ, то ли невнимательно выслушала, то ли просто перепутала, но когда пехота устремилась в атаку, на нее обрушился двойной шквал огня артиллерии и авиации. Своей артиллерии! Своей авиации! Почти вся дивизия была уничтожена. Тысячи советских солдат погибли под советскими снарядами и бомбами. Час спустя весь состав аппаратной связи был расстрелян... И эти связисты были не старше вас... Теперь взгляните на курсанта Бронштейна, он уснул при выполнении боевого задания вместо того,

чтобы охранять ваш покой, он оставил своих товарищей на произвол судьбы. Ничего не произошло, но могло произойти. Рядом граница, ревизионистский Китай, свернув с марксистско-ленинского пути, угрожает напасть на нас и забрать Сибирь, Дальний Восток, Казахстан!!! Мы должны быть начеку каждую минуту, каждую секунду, каждый миг! В таких обстоятельствах простое разгильдяйство — преступление! Враг мог бы свободно проникнуть на территорию части и перерезать всю роту. Я предлагаю предать курсанта Самуила Давыдовича Бронштейна суду военного трибунала. Но мы решили, что вы сами должны решить судьбу своего бывшего товарища. Слово имеет комсорг роты Шлемин.

Рота дремала. Пока Шлемин более примитивным образом повторял слова и заключение замполита, сидевший рядом со мной Свежнев зашептал:

— Терроризируют. Показательный суд, на Самуиле хотят отыграться. Гады! Рассказывает, как без суда расстреляли целую аппаратную, кто-то один же был виноват, и никто не удивляется.

Я возразил ему:

— Это закон. На этом стоит и должна стоять всякая армия. Солдат должен уметь выкручиваться, но раз попался, то устав есть устав. Ты же знаешь, я хорошо отношусь к Бронштейну, но устав сильнее. Он нужен. Я пальцем не шевельну, чтоб его спасти.

— Я никогда тебя не пойму, — с яростью прошептал мне в ответ Коля, — не могу я спокойно смотреть, как бездушно и бездумно губят человека ни за понюшку табака.

— Бездушно, но не бездумно.

Лицо Свежнева покраснелось; отвернувшись от меня, он стал ерзать, бормоча себе под нос.

Бронштейн стоял понурившись. Я смотрел на спокойно дышавшую слабую грудь Самуила и не испытывал жалости. Не повезло. Он уже уходил в прошлое.

А жалеть... кому нужно? Нет, я был искренен с Колей, это он — словоблудствовал. Он соглашался с моим утверждением, что во всяком демократическом государстве должна быть железная армия с железным уставом и дисциплиной, чтобы именно своим догматизмом она могла защитить демократию. Теперь он словоблудствовал и собирался коснуть в словоблудстве.

Рота дремала, только курсанты Сергейчук и Топорко скалили зубы: месяца полтора назад они хотели «пустить кровь жидюге Самуилу». Красильникова на собрании не было, он попросился пойти в наряд на кухню. Вспотевший Шлемин наконец сел (он сам говорил, что быть кандидатом в члены партии — это не из баб вытяжа делать).

Майор одобрительно кивнул головой. Замполит поощряюще спросил:

— Кто еще выступит? На общеротном собрании каждый имеет право высказаться.

Высказался Свежнев.

— Товарищи, существует пословица: «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят». Мы же насорили, не воспитали в Бронштейне настоящего курсанта. Наш долг снять шелуху недисциплинированности с курсанта Бронштейна и оставить, воспитать комсомольца Бронштейна настоящим солдатом, будущим командиром, а не перекладывать груз ответственности со своих плеч на плечи дисциплинарного батальона. Я не утверждаю, что с каждым из нас может случиться подобное, но благодаря случившемуся каждый еще глубже поймет необходимость перманентно заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием. Предлагаю дело курсанта Бронштейна Самуила Давыдовича не передавать в суд военного трибунала, а наказать его здесь, у себя в части, дисциплинарным порядком и учредить над ним шефство. Кто ЗА, прошу поднять руку.

Слово «перманентно» никто не понял, остальное смутно доходило что, мол, предлагают не сажать. Но зато слова о том, что с каждым может подобное случиться, угодили прямо в цель. Почти все, кроме сержантов и кандидатов в члены партии, подняли руки. Я тоже поднял, почему нет... кому нужно... Лицо замполита не дрогнуло, майор раза два открыл и закрыл рот. Но наиболее удивленным казался Бронштейн: он засветился изнутри, улыбнулся, как улыбается женщина, млея в твердых руках.

Свежнев вернулся на свое место, плакатом выставляя лицо, полное торжества. Не удержавшись, я ехидно спросил:

— Ты сам себе не противен?

— Нет, я бил врага его же оружием. Совесть моя спокойна.

Я кивнул в сторону замполита:

— Они тебе этого не забудут. Ты же знаешь: нельзя безнаказанно делать добрые дела. Гляди, как бы не пожалел.

— В отличие от тебя, в любом случае у меня будет спокойная совесть.

Против воли эти слова обидели. Я промолчал.

Майор Дорошенко резко объявил общеротное собрание закрытым, приказал выходить строиться и до обеда гонял нас по плацу, раздаривая за любую неуклюжесть наряды вне очереди. Многие в последующие дни спали по четыре часа в сутки. Самуилу вклеили пятнадцать суток губы, для проформы провели машинкой по и так остриженной голове и, сняв с него ремень, под конвоем повели в деревню.

А год спустя ему на посту всадили в спину штык. Спал ли он? Бодрствовал? Тот китаец, который убил его... забыл? ...Никому не нужно знать. А чего ему помнить?

Уходило и это воспоминание, только прошлое ли оно? «Случай — есть неосознанная необходимость», — я это сегодня говорил Рубинчику. Судьба в таком случае есть вера в эту необходимость. Свежнев гордился и гордится до сих пор тем, что спас Самуила. Спас?! Не хочет ли он спасти Россию, построить новый, настоящий социализм, спасти народ так же, как спас Самуила? Так и хочет.

Ребята, возвращающиеся из солдатского клуба, оборвали последние нити воспоминаний. Приближался отбой. Ночь нажиралась темнотой. Впереди было девять часов крепкого солдатского сна, короткую мысль о возможной тревоге гнали прочь. Едва только вошли последние, смотревшие фильм в Доме офицеров, как раздалась команда:

— Строиться к вечерней поверке!

Вдоль выстроившейся шеренги ходили командиры отделений, смотрели, чтобы сапоги были начищены, ремень туго подтянут, складки гимнастерки правильно уложены, чтобы подворотничок был чистый, ногти подрезаны, лицо выбрито. Проходя мимо Кырыгла, я оторвал висевшую «на соплях» пуговицу на его гимнастерке, сунул ее в удивленную руку салаги, ожидающего наказания, и пошел дальше, крутя ремни, отрывая грязные подворотнички. Старшина со списком личного состава роты стал отмечать присутствующих, губарей, медсанбатников, наряд кухни, затем тихо и важно произнес:

— Вольно. Отбой.

Салаги бросились к койкам, снимая одежду на ходу; фазаны быстро, но спокойно снимали, укладывали на табуретки обмундирование; старики, степенно беседуя, направились к своим койкам, сели, стали вяло стаскивать сапоги. Щелкнул выключатель. Только сторожевая лампочка, висевшая над дверью, блекло освещала фигуру дневального, стоящего у тумбочки, и от-

брасывала в сторону длинную тень прохаживающегося дежурного по роте.

На соседней койке посапывал Свежнев. Этот спит, а вот Быблев не спит, скоро тихонько встанет и будет молиться, неслышно бормоча никому до конца не понятные слова. Часто, когда дежурным по части назначался ретивый, обожавший внезапно появляться в казарме офицер, Быблев уходил молиться своему троичному Богу в ленинскую комнату, где в темноте с портретов на него смотрели глаза другой троицы: Маркса, Энгельса, Ленина. Смешно? Горько? Нет для человека вечности, есть лишь однообразие повторения. Страшна сила пустого слова, из которого ткется власть, поэтому упорно повторяемые слова учений сильнее человека. Но иногда слова сбрасывают шелуху своей банальности и становятся глубокими до тошноты. Я так думал. Думаю ли теперь? Не нужно знать... Мне часто бывает тошно, всё чаще. Нужно забыть об этом, забыть о прошлом и будущем, иначе потеряю себя. И не искать здесь счастья, а выждать время и пойти к Свете, забыться в презрении к ней, чтобы не презирать себя.

5

Зарубками на столах, банными днями подсчитывались дни и недели. Разводы, инструктажи, караулы — время не меняло обращенного ко мне тупого лица. Как-то после политинформации я сказал Рубинчику:

— Товарищ подполковник, вы намекнули, что рядовой Свежнев идет не по прямой стезе. Он ведь не комсомолец, приняли бы его в славные ряды ВЛКСМ, он счастлив будет.

Мой издевательский тон не ускользнул от парт-орга:

— Что? Да я его на пушечный выстрел не... — Он с подозрением уставился на меня, затем заговорщицки усмехнулся. — А зачем вам... Да это неплохая идея, посмотрим. Только, товарищ младший сержант, с такими вопросами следует обращаться к комсorghу, не к парторгу.

Наутро в часть привели из учебной артиллерийской части, расположенной в Уссурийске, сорок курсантов, в сапогах, в бушлатах¹². Это был последний призыв 1968 года: восемнадцатилетние юнцы, кто с мышцами, кто без, но все со слабой костью. Мороз поднялся до тридцати, ветер рвал во все стороны ослабевший от холода воздух. Из штабной «секретки» поползли слухи об учениях. Старики, в отличие от салаг, мельтешивших при первых слухах, знали: все зависит от погоды. Прошлые зимние учения были бесснежными, значит, будет метель — будет и тревога. Курсантам устроили спальное помещение в спортзале, по ночам восемьдесят глаз с несбыточной мечтой смотрели на вешалку, где висели вздернутые воинским уставом бушлаты, затем закрывались веками, поверх которых синеватая рука натягивала худое одеяло. Я украдкой проверял обмундирование своего расчета, рассматривал в каптерке валенок за валенком, на вешалке — шинель за шинелью. За себя я был спокоен: ватные штаны и фуфайка были в порядке, две запасные шинели лежали в тягаче, для снега были непрорезиненные валенки, в кармане лежал комок анаши и в противогазной сумке ждали три бутылки перцовки. Нефедов, мой заряжающий, нежился при любом морозе, закутавшись в две шинели, у моего наводчика Свежнева все зависело от настроения, но, как всякий старик, ко всему прошедший учебку, он мог выдержать всё. Быблев, водитель, молчал и делал, что нужно. Оставалось еще четверо салаг, в том числе Кырыгл

¹² Бушлат — здесь: ватная солдатская куртка.

и Мусамбегов, за ними нужно было следить, то гладить, то бить. И для полного расчета придадут троих курсантов, только что выброшенных из помазков¹³. Будут орудийными номерами.

Через день из болтливых красок наступающей темноты завихрились поначалу нежно, несмотря на сильный ветер, снежинки будущей метели. Шли на ужин, раздирали рот, ловя игриво-равнодушный дождь зимы. Деля пищу, взглянул на маленькое тело Кырыгла, сказал:

— Ешь. Снег пошел, это не шутки, крепко ешь.

Я с удивлением почувствовал нежность в своем голосе. Свежнев криво улыбнулся:

— Знаешь историю, вот и думаешь, что путь к душе солдата лежит через его желудок.

— Брось свои настроения, Колька, брось. Надо бросать. Другого выхода нет.

Свежнев кивнул.

Теплота окутывала человеческие чувства, готовые к испытаниям, к твердости и беспощадности. Старшина так мягко произнес слово «отбой», что некоторые салаги сели, снимая обмундирование, на койки. Висели, капая, минуты над головами дремлющих. Вой сирен освободил тела от ожидания, тишина мгновенно отошла в небытие. Дневальные бегали по казарме:

— Подъем! Тревога!

Салаги толпились у дверей каптерки, кромсали руками воздух, не дотягиваясь через плечи других до валенок, и, еще не дотянувшись, мысленно переносились, бешено вертя глазами, в оружейную. С некоторых спадали галифе; не обращая на это внимания, натягивали сверху ватные штаны, не зная, что придется после, поправляя, выпускать драгоценный теплый воздух.

¹³ Помазок — солдат до присяги, еще не подвластный военному трибуналу.

Старики делали привычное, не суетясь. Орудийный парк, освещенный перекрестным огнем прожекторов, сжался в муравейник, копошившийся у ног вездесущей ночи. Быблев уже выводил тягач, наша матушка-пушка, гаубица 151-я, всё еще стояла, разбросав станины в раскорячку. Нефедов нагружал тягач инвентарем. Метель сердито шелестела, залепляла лицо, таяла, затем леденела на лице тонкой коркой. Натолкнувшись на троих, стоявших в шеренгу в сапогах и бушлатах, я спросил:

— В чем дело?

— Приданы вашему орудию, товарищ младший сержант.

— Растирайте лица, кретины. Почему без ватников, валенок?

— Не выдали нам.

Они произнесли слова хмуро, спокойно. Зима цвела вокруг них белым ветром, но только прикоснулась к ним и не успела изгнать из тел гордость и инстинктивную веру в горячую их молодость.

— Сами виноваты. Помогайте ефрейтору Нефедову.

Управились за двадцать минут и, опередив положенное время, засекаемое суетившимся командиром взвода лейтенантом Чичко, тягач, легко волоча по хрящеватой земле восьмитонное орудие, вопя дизелем, помчался на склад за боеприпасами. Два других орудия взвода опаздывали, это радовало; придется командиру батареи капитану Голубову отметить, что орудие младшего сержанта Мальцева прибыло первым — еще один плюс в пользу самосохранения. Но плюс этот уходил, стиснутый простым желанием совершить свою солдатскую работу.

Я сидел рядом с Быблевым, его пухлое тело удобно заполняло сидение, лицо было обычно сосредоточенным, тягач ли, трактор — он передвигал рычаги. В деревне близ Львова ждала его невеста. Отец писал,

что начал строить им дом. Быблев любил рассказывать о свадьбах, о церкви. И мечтал стать сержантом, прийти из армии, как он выражался, человеком. С русскими он редко дружил, они не любили хохлов, более хитрых, выбивающихся в сержанты, и, став ими, любой ценой цепляющихся за лыки. Почти все сержанты были украинцами и с удовольствием показывали свою власть младших командиров, но и умели останавливаться вовремя. Как мне говорил один казах: «Они знают, что украинская злоба не устоит перед русской яростью». Я поверил этому казаху, он не любил ни русских, ни украинцев. Но странно: все те, кто знал о вере Быблева в троичного Бога, уважали его, быть может, так, как уважают всякого, кто, рискуя дисбатом, уходит в самоволку...

Тягач, едва не уткнувшись в черную дыру ворот склада, развернулся и стал. В густоте снега молчаливо бродили псы охраны. У порога конторки склада стоял командир батареи.

— Товарищ капитан, оружие младшего сержанта Мальцева прибыло за боеприпасами.

Как и положено по неписаному закону, действующему во время учений, — наверное, и во время войны, — капитан ответил не по-уставному:

— Молодцы! Так ты, сержант, снова первый, — он почти незаметно осмотрелся. — Не пойму я тебя, служишь по-настоящему, хороший командир, а всё лезешь куда-то. Послушай меня, я ведь уже десять лет в армии, не лезь в бутылку. Ну, родился ты в этой Франции, ну, хочешь назад уехать — хоти, только дослужи хорошо, мне солдат нужен, а ты еще и парень хороший. Вернешься на гражданку, хоть в Австралию езжай. И Свежневу скажи. Что за расчет: первые приходите, всегда пятерку получаете, — а бредите всякими глупостями, не в университете же тебя этому научили. Ты понял? Загружайтесь.

Пока девяностокilограммовые снаряды, уютно ждущие своего часа в ящиках, ложились на плечи, мысли и загадки вспыхивали в моем черепе: почему он так заговорил? и про университет откуда он узнал? неужто дело мое из Уссурийска пришло? почему сейчас? или он решил только теперь сказать? почему?

Нефедов брал по два ящика под мышки и словно прогуливался от склада к тягачу. С этим весом и я мог довольно спокойно работать, но остальные сгибались в три погибели или тащили ящики вдвоем. Радовала собственная сила, заставляла выплескивать из глаз легкое презрение к иному, более слабому.

Рев опоздавших тягачей, пробуравив метель, уже буран, подгонял нас: осколочные, кумулятивные снаряды клались вповалку. Капитан, отметив на карте место сбора, сказал на прощанье:

— Желаю боевой удачи. Не валяйте дурака.

Мороз лениво отползал к тридцати; распарившись от работы, салаги расстегнули шинели и жадно ели густо залетающий в рот снег. Отыскав среди тряпья на складе три сжеванные временем фуфайки, кинул их салагам:

— Хватайте, зелень чёртова, да застегнитесь и перестаньте рожи строить, скоро целовать будете эту вонь.

И завопил в буран уже сидящему в кабине Быблеву:

— Давай! На восток! К границе! Остановишься на пятом километре!

Орудие мячиком прыгало, вертясь в белой мгле позади тягача, подминающего под себя овраги и мелкие сопки. На этот раз я сел в кузов к расчету. Все молчали, передо мной на откидной скамье сидел, поджав ноги, Нефедов, его большое ладное тело находилось в беспрерывном спокойном напряжении, светлые глаза смотрели ласково.

Я любил Нефедова за спокойствие. Таежник, сын и внук таежника, он иногда намекал о своей тоске по тишине и шуму тайги. Он рассказывал в карауле, в часы бодрствующей смены, о своем деде, охотнике за жень-шенем, корнем жизни и долголетия. Сотни и сотни верст по нечеловеческому краю деревьев в поисках цветка, мимо которого можно проскользнуть, на который можно наступить. Только неведомый самому охотнику инстинкт пульсацией крови или другим внезапным знанием подсказывал: здесь где-то, около... И проходили в поисках дни, недели, иногда месяцы, пока, если повезет, раздирая счастьем глаза, появлялся на месте, уже исхоженном и истоптанном, простой на вид цветок жень-шеня. Многосантиметровый, скрывающийся под цветком корень глубоко извивается в земле. Подобно осторожнейшим археологическим раскопкам, начиналась кропотливая работа. Добыть корень, не поранив его — искусство, дающееся твердой руке и отсутствию нервов. При этом беречь корень, как зеницу ока, защищать себя от рыси, медведя-шатуна, а главное — от человека, от охотников за охотниками корня, выслеживающих и, подождав, пока работа завершится, убивающих счастливого.

В конце двадцатых годов после шести месяцев поисков отец Нефедова нашел скелет своего отца с разрубленным черепом. Он не поверил, что кто-то, отцу неизвестный, мог подойти со спины и ударить, это было немыслимо. Он спустился по реке Бире, спрашивая жителей поселков, не видели ли песцовую шапку такую-то, охотничий нож такой-то. Через год ему повезло, он узнал, что это был их сосед, сорок километров разделяло их избы, — Степан Блакушин. Не было тогда никакой власти в тайге, был только закон справедливости: Степан Блакушин ушел в землю с разрубленной головой.

Сына своего, только успел младенец пискнуть в белый свет, Нефедов отнес и сунул в сугроб: либо по-

мрет, либо человеком будет. Вышел человек: зоркие спокойные глаза, и казался стройным при 140 килограммов костей и мышц. Бил белку, уважал девушек. Политический учебник «На страже Родины» читал, не как следы тайги, чтобы думать, — только чтобы знать. На любой вопрос отвечал по-таежному: справедливость? Справедливость, как тайга, непостоянна, трудно угадать, что выкинет, трудно понять ее бормотание.

Иногда Нефедов тайком от отца ездил в Биробиджан на базар продать несколько шкур. Ему было интересно, любопытно вышагивать по тротуарам вдоль домов, но города он не любил: вонь и дышать трудно. Несколько раз в день из громкоговорителей, висевших вместо ламп над головами прохожих, шли передачи на еврейском языке, в киосках продавалась газетенка, наполненная не понятными никому знаками. Передачи никто не слушал, газету никто не покупал. С ним, когда он рассматривал витрину книжного магазина, познакомилась чернявая девушка (полторы бабы на одного мужика в тех краях, это еще хорошая цифра).

Лидия Израилевна Снобина была странным чудом в глазах Нефедова: ее детские кости покрывало зрелое женское мясо, характер был таинственным, поведение неестественным. Она могла осыпать его ругательствами, о которых он понятия не имел, за то, о чем он и догадаться не мог, могла молчать с яркой оскорбительностью, нервы ее были выкованы из недоброкачественной стали: они, казалось, могли выдержать всё, затем вдруг ломко лопались. Часто Лидино высокомерие и внутреннее самолюбование (не любила выставлять его напоказ) коробили Нефедова, но она была так переменчива, что все ее выкрутасы приходили и уходили, не оставляя большого следа — примерно так, как гроза в тайге: пришла, ушла, о ней забыть надо и нюхать воздух, не оставила ли пожар; если

не оставила, то найти муравейник и взглянуть, не вернется ли.

Но Лида была не грозой, а бабой, и то, что она не взвешивала слова, которые произносила в дурном настроении, обрисовывая свое отношение к Нефедову, было хуже ругательств и криков. На койке — как баба — была ни то, ни сё, но Нефедова тянуло к ней, то ли он ее любил, то ли просто хотел непонятного, желал прикоснуться к нему. Нефедов-старший добродушно посмеивался над увлечением сына. Однажды поведал ему рассказ матери, умершей несколько лет назад от боли в поселковой больнице (во время операции то ли перепутали с чем-то обезболивающим, то ли вечно пьяный врач вообще забыл его дать).

— В поселке Крупном, что за Байкалом, жила когда-то моя старуха, твоя мать. И вот однажды, — это было, когда много народу поперли с запада к нам, кажись, в сорок первом, — так вот в ту пору и пошли подметать улицу поселка слухи: движется к нам эшелон евреев и у этих евреев на макушке растут рога. Пошел переполох, никто ведь там и в глаза не видел еврея, — а вдруг и в самом деле антихрист или еще чего. Железнодорожная ветка была недалече, вот и бегали смотреть, кто и с ножом за пазухой. Поезд тогда редко останавливался возле Крупного. Но однажды стал. Вышли оттуда люди, к ним боязливо подошли мужики, бабы.

— День добрый.

— Здравствуйте, — ответила ихняя баба, тоненькая такая, — здравствуйте.

Ну, раз по-нашему говорят, значит свои, и осмелели мужики:

— Вы не слыхали часом, тут евреи должны ехать.

— Мы и есть евреи.

— Врешь.

— Нет, а что?

Все оторопели, отпрянули. Один мужик посмелее,

Федор (я его знал, на медведя с рогатиной ходил), рывкнул:

— А ну скинь шапку!

Та баба скинула, ну и появилась на Божий свет: красивое личико, такое тонкое, с такими красивыми волосами, что все заулыбались. Потасили их в поселок, накормили, те с голодухи уже пухли. Жили они там до конца войны, некоторые вообще остались. Так-то, сынок.

После рассказа отец усмехнулся добродушно, и добавил:

— Да, это было в первый год войны, в 41 году, я тогда на фронт пошел, а бабу свою к родичам туда послал... Да, так ты проверь, может, у твоей девки рога растут.

Когда подошел срок службы, Нефедов-старший сказал, что, мол, нечего ждать, пока найдут, иди сам: и поумнеешь, и поймешь, что такое воля.

Нефедов радовался, что попал не в город. Законы дисциплинарного устава принял легко, он сравнивал закон дисциплины с законом ожидания: на охоте нужно молчать, делать то, что нужно, быть послушным усвоенному знанию; всё это — отдельные части ожидания. Чего? Кому нужно знать... Ждать — славянское слово.

Неделю назад Нефедов получил письмо от Лиды. Было начертано, что вот уже две недели, как она не любит его, быть может, никогда не полюбит, так что пусть не пишет. Нефедов как бы в ответ только по-отцовски усмехнулся.

На разглагольствования Свежнева о настоящей революции и демократии он, обычно с уважением молча слушавший, однажды сказал:

— Все это темно для меня, да я и не хочу понимать, могу только сказать слова деда, который встречался с революционерами: «Они хороши, когда люди. А вообще, это лисицы, хотевшие сожрать волков,

чтоб обрядиться в их шкуру». Я запомнил, но не знаю, о чем он говорил, может, тогда и был такой народ.

Стук в плексиглазовое окошко оторвал от мыслей о Нефедове. Приехали! Буран баюкающим гулом и нежными белыми пушинками проникал сквозь плотный брезент тягача к ушам и дыханию. Салаги сидели притихшие, монотонно постукивали сапогом по сапогу, оглядывались, словно звали ушедшее тепло. Свежнев, устав бормотать Есенина, бубнил сцены из Фауста. Порывшись в вещмешке, достав из него две газетёнки «Суворовский натиск», я сказал салагам:

— Небось по три портянки наворачнули, так что ноге идохнуть нечем. Две портянки снять, оставить только байковую, сверху газету, лучше политинформации согреет. Выполняйте. — И обратившись к Нефедову: — Выкинь зеленую, может, заметят.

Зеленая ракета взметнулась и исчезла в белой тьме. Ответа не было. Свежнев стал молча распаковывать радиостанцию, действительно, другого способа не было.

— Зоя, Зоя! Я — Победа, я — Победа! Прием!

Через несколько минут ему удалось войти в связь со штабом и отметить точный пункт сбора.

Тронулись. Тягач, прожевав густой кустарник, неожиданно влез носом в ручей, прячущийся под твердым снегом. Быблев успел рвануть рычаг заднего хода, гусеницы въелись в снег, достали землю и резко отбросили назад машину. Всё обошлось, только один из салаг, на вид латыш, полетел кубарем и слегка вывихнул руку.

— Начинается, — сказал Коля, — притупленность инстинкта самосохранения — свойство каждой души, не видящей единства в дисциплине и самодисциплине. Это слова не мои, а вашего командира, тут сидящего, но не беспокойтесь, я сам видел, как ему бревном чуть не оторвало голову.

Все рассмеялись. Я взглянул на Кырыгла и Мусамбегова, они тоже смеялись, их движения, освобожденные от казарменных стен и вечного напряженного ожидания отдания чести и перехода для этого в печатный шаг, стали развязанными и мягкими, бескостными, лица обрели душевность. Пока всё шло хорошо.

Наконец, выехали на плато, созданное природой для артиллерийских позиций. За плато скалы создавали естественное убежище для тягачей, впереди простиралось на сто восемьдесят градусов обстреливаемое пространство. Штаб — бывший тягач-ремонтник — уже поджидал. Из него вышли два человека и направились к нам, махая руками, как делают родные люди, завидевшие вас издалека. Нефедов схватил за шиворот на радостном лету бросившегося из тягача Мусамбегова:

— Нельзя, ждать надо.

Свежнев хихикнул:

— Нашу пушку увидели, так и «на пушку» решили взять.

Подхватив автомат подмышку, я заорал:

— Стой! Кто идет?

— Свои. Зоя!

— Скажите фамилию командира части!

— Полковник Исокин.

— Имя-отчество?

— Сергей Платонович.

— Подходите.

Я уже знал, что к нам направляется собственной персоной Исокин, старый боевой офицер, провоевавший четыре года в противотанковой артиллерии и оставшийся в живых, несмотря на шестнадцать осколочных ранений. Мне он казался старым типом русских офицеров, которых история бессильна изменить. Свежнев называл его Максим Максимычем. Рядом с ним семенил начальник штаба подполковник Труси-

лов, коротконогий колобкастый мужик, видевший во всех нарушениях устава идеологическую диверсию или прямой саботаж и свято веривший в это. Он не мог понять, что можно по лени не отдать честь проходящему офицеру, и сразу квалифицировал подобный проступок, как нарочитое оскорбление мундира. Он искренне и добродушно не понимал, почему меня и Свежнева до сих пор не расстреляли.

Они подошли. Мне было лень высказывать и докладывать, поэтому я просто вылез и сказал с уважением:

— Здравствуйте, Сергей Платонович.

Трусилов сразу вспыхнул:

— Как вы смеете, товарищ сер...

Исокин остановил его жестом и, обратившись ко мне, сказал:

— Здравствуй, Мальцев, здравствуй. Молодец, первым прибыл. Дуй в таком духе и дальше, я не забуду. Поставишь оружие справа на плато, — тут он подмигнул, — я проверял, земля, камня нет, — и, заметив мой благодарный взгляд, поспешно добавил, — давайте, живее, учения нынче окружные, начальство в любое время может вынырнуть. Мы с начштабом поедем встречать заблудившихся. Не солдаты, овцы.

Через десять минут оружие стояло, задрав ствол в сторону стрельбища, станины были разведены и приколочены к земле пятидесятикилограммовыми колышками. Салаг я послал собирать по окрестностям дрова. Быблев с тягачом спустился с плато в низину. Свежнев отыскал по рации штаб и доложил, что оружие к бою готово, потом стал шарить в эфире. Я присобачивал к орудию прицел, когда подошедший Свежнев сказал:

— В километре на юго-восток тащится танковая колонна. У них там что-то произошло, я не понял — то ли кого ранило, то ли прибило. Раньше, чем через минут сорок, начальство всех не соберет. Махнем туда?

Я согласился. Сказав Нефедову, чтобы он в случае чего пустил зеленую ракету, мы помчались вниз к Быблеву. Неуемное любопытство видеть смерть толкало меня, здесь среди пурги она казалась сурово-прекрасной, полной таинственного смысла. Растянувшись черной веревкой на белом саване земли, стояли танки. Быблев направил бесстыдно ревуший в белой тишине застывшего бурана тягач к скоплению черных точек в начале колонны. В рытвине стоял покореженный танк, на его покривленной броне мерзло месиво, бывшее когда-то человеком; стало грустно от застывшего месива, над которым застыло время. Рядом, окруженный товарищами, лежал на расстеленных плащпалатках парень с проломленной головой; освещенные прожектором с неба красиво падали последние снежинки засыпающей непогоды и растворялись на лице умирающего парня. Он дергался тряпичной куклой, поводил во все стороны вылезающими, потерявшими цвет глазами, рвал какой-то красноватой гадостью, в которой плавали белые шарики, и звал в перерывах Валу. Она очень красивая, и непременно дождетя его. Я заметил, как Быблев несколько раз перекрестил его. Мне на секунду показалось чудом крестное движение, нежное и спокойное, искренне направленное на парня, из глубины души которого в последние минуты поднялось желание обнять девушку, переспать с какой-то Валею, красоту которой он в бреду пил захлебываясь, восхищенно говоря, что нежнейшее Валино место — тыльная сторона ляжки. Я понял: парень хотел чуда, вечно живого чуда обладания телом любимой женщины. Он перестал быть солдатом, был ли он человеком, никто не узнает, а мужчина он еще есть. Свежнев смотрел пустыми глазами.

Парень посуровел, застыл, и так же застыло скованное морозом время. Все медленно стащили шлемы. Размолотые гусеницами куски мороженного мяса на

броню не толкнули их к этому жесту, Быблев не подумал перекрестить их. Они любили и уважали человекоподобие, то есть себя.

— Как это случилось? — спросил Свежнев у проходящего танкиста.

— Как? Обыкновенно. Ведь видел — крутило, сам чёрт ада в двух шагах не распознал бы. Да и уставной дистанции они, наверно, не держали. Влезли они в эту яму, Леня то ли захотел сам вылезти из нее, не прося помощи по радио, то ли что у них испортилось, но он вылез на броню, вот задний на него и навалился сверху. В клочья. А Мишка как раз, видимо, только голову из люка высовывал, и зацепило его по черепу.

— А кто эта Валя?

— Хрен его знает. Сам знаешь, много этих Валь.

— Да, — задумчиво сказал я, стоя позади них, — никто теперь не узнает, да и кому нужно знать...

Танкист, массируя ставшее безразличным лицо, продолжил:

— Никому не нужно. Командир взвода всё вызывает санчасть, никак не вызовет. А нужна она кому-нибудь теперь? Никому. Положено. А когда в прошлом году Литвин из второй роты попал под гусеницы, так «кусок»¹⁴ не захотел ему выдать новый мундир, так и похоронили его в грязном «ХБ»¹⁵. Не положено было. У Мишки мундир в части остался. Если не украдут, в нем похоронят. Ладно, ребята, пойду к машине, счастливо...

Тягач прощально прогудел колонне и пошел обратно к плато. Мы сидели в кузове со Свежневым, и каждый заставлял себя молчать, чтобы не рассориться. В кабине водителя, наверное, молился Быблев.

¹⁴ «Кусок» — старшина-сверхсрочник.

¹⁵ «ХБ» — хлопчатобумажные гимнастерки.

Снег, победив ветер, теперь сам умирал. На плато ворчали двигатели, устанавливая орудия подоспевших первого и второго взводов. Связисты протягивали кабель между нашей, первой, и второй батареей полка, в третьей люди были на бумаге, были только орудия, законсервированные в оружейном парке. На краю плато стоял в петровской позе лейтенант Чичко. Заметив нас, спросил:

— Где были?

— Прощупывали окрестности, подлая местность, полно ручейков, надо прижиматься к правой стороне.

Удовлетворенный ответом, в который ему оставалось только верить, Чичко вновь повернулся к пространству, окружающему плато. Он чувствовал себя беспомощным, без связи, командиром он не успел еще стать, товарищем — боялся, так как не знал, когда нужно быть другом солдата, когда — начальником. К нему пришла уверенность, только когда в трубке ТАИ-43 (верного полевого телефонного аппарата времен Очакова и покорения Крыма) заматерился голос командира полка, орудий данные и прицел. Салаги подтаскивали снаряды. Пока Нефедов засовывал в ствол головку, я, в зависимости от дальности, вытаскивал из гильзы мешочки с черным порохом. Все отбегали, я орал «огонь», Нефедов дергал шнур, ствол рывкал, и снаряд, визжа в своей крутой траектории, уходил куда-то, созданный, чтобы убивать или умирать самому, не удивляя никого еще одной безобидной воронкой. Старики выкрикивали при каждом выстреле: — Хромачи полетели!¹⁶

Салаги прижимали руки к ушам ушанок.

Быстро промелькнул день. Двадцатое февраля 1969 года отходило ко сну.

¹⁶ Хромовые сапоги стояли столько же, сколько и снаряд—33 р.

В деревянной кибитке на колесах прикатил командир батареи, позади на полозьях волочилась походная кухня. Обычный неприятно-горький запах масла, исходивший из ее жерла, и звук булькания жидкой каши при встречах полозьев с камнями притянули к себе голые глаза и вдруг взбесившиеся животы. В этой каше был завтрак, обед и ужин; она, теплая, запихивалась в утробы поспешно и с наслаждением. Ее было много, и хлеба выдавали вволю. На ходу старики объясняли молодым, что не кашу нужно заедать хлебом, а наоборот, хлеб — пустой кашей, чтобы во внезапно ставший пустым желудок не проник до утра подбадриваемый ночным морозом голод. На семьдесят человек батареи были выданы две палатки для десяти человек каждая и две «буржуйки». Днем палатки служили обогревалками, ночью — спальным помещением.

Лейтенант Чичко с командиром второго взвода полезли к теплу кибитки. Капитан уступил им свою койку, сам он всегда спал возле орудий в спальном мешке из гагачьего пуха, для которого сорокаградусный мороз был товарищем, не обузой.

Ребята бросали жребий, кому быть часовым, каждый тайно желая, чтобы жребий пал на него, — часовым отдавалось место в палатках возле «буржоек». Многие, пользуясь затишьем, грелись у костров. Салаги надеялись на безветренную ночь. В палатки, расплывшиеся от ветхости, набивалось по тридцать человек. Спали стоя, подпирая друг друга.

Свежнев, влив в себя бутылку перцовки и закутавшись в плотный тяжелый брезент тягача, уже спал в его кузове. На прошлых зимних учениях Кольке удалось встать у самой «буржуйки». Сон, набросившись на него сзади, мягко толкнул голову к раскаленной жестяной трубе. Ни Колькин вопль, ни запах паленого мяса не тронули ничей сон. Осталась отметина от той ночи на лбу Свежнева да отвращение к «буржуйкам» и стоячему сну.

Несколько ребят из второго взвода, пользуясь усталостью ветра, развели костер. Я подсел к нему. Ребята, все из-под Свердловска, задумчиво смотрели на комочек тепла, на маленькие ленивые искры, стынувшие в темноте и сами становящиеся темнотой. Задумчивость передалась и мне. Набив папиросу анашой, втягивал я в себя простое безразличие и чистоту мыслей, заключенных в зелье, и слушал медленно льющщиеся слова беседы вокруг костра.

— Не люблю учений! Бегаешь, морозишься, недоедаешь, а для чего — никто не знает. Будто и так стрелять не умеем. А так, в армии хоть навсегда бы остался сверхсрочником. А что? Жрать дают навалом, зарплата хорошая, месяц отпуска, да и не сидишь всю жизнь на месте. Обувка и одежда казенная, а если завскладом на продовольственном стать, то и «ИЖ»¹⁷ через годик заведешь. Есть ребята, срочники, которые хнычут. А чего хныкать? На всем казенном вплоть до бани и белья, да еще задаром 3.80 дают в месяц, и если оттарабанишь год без помарок, то и отпуск можно заработать. Чем не жизнь? А некоторые — да что там, многие — рвутся на гражданку, будто каждый из них председательский сынок, дни считают. А для чего? Чтоб после вспоминать и жалеть, иначе тоскливо им и прошлого нет.

Парень говорил, как почитанному. Его слушали, кто кивал, кто качал головой. Один принес котелок с картошкой и поставил его на огонь, потерявший с этого мига колдовство давать задумчивость глазам. Холод, натыкаясь на костер, отступал и нападал сзади на спины.

— А ты что думаешь? — спросил я у белобрысого парня, всё еще внимательно рассматривающего лицо друга, произнесшего монолог.

— Что? Всё не так просто. Во многом Иван прав,

¹⁷ «ИЖ» — марка мотоцикла.

но я, например, знаю, что ни за какие коврижки не останусь на сверхсрочную. Мне теперь деревня кажется куда красивей, больше и родней, чем есть на самом деле. Знаю это, но ничего не могу с собою поделать. Тянет меня к ней, хочу пройтись по ней, и чтоб девки смотрели на меня из окон и говорили: «Гляди, Огурцов вернулся». А что дальше, там видно будет.

Парень почмокал в раздумье губами, придвинул рукой лежавший рядом вещмешок... и взглянул на меня с сомнением. Я понял и показал ему папироску. Он вытащил бутылку спирта. В распаренную картошку погрузилось доньшко откупоренной бутылки. Плотно накрывшись с головой плащпалатками, ребята яростно вдыхали в себя пары спирта, пьянели споро. Таким способом и двадцать человек могли найти быстротечный хмель. Пары входили, дурили головы и улетучивались, насыщая подобно пустой каше. Соприкасалось дыхание спирта с человеческим дыханием.

Я легко улыбнулся и, уходя, оглянулся на согнувшихся под плащпалатками ребят, как старик оглядывается на свою молодость. Взяв под сидением в тягаче свои две шинели, поудобнее устроился, закутался.

Передохнув, ветер засвистел вновь, прогоняя ребят от костров к набитым до отказа палаткам.

Только анаша и перцовка могли позволить телу уснуть в ледяной кабине тягача. Струйки ветра проникали через невидимые щели, рука находила их и плотнее прикрывала частями шинели. Мысли чисто и спокойно равнодушными глазами уходили от тягача к границе, от границы к тягачу, по пути смешиваясь с услышанным, понятным и непонятным.

В сущности — несколько километров до войны, меньше часа езды. С этой стороны мы в солдатики играем, с той — они. Так и учимся, разделенные узкой полоской земли, как убивать друг друга. Кто знает, что творится за этими узкими глазами? Ясно одно:

каждая политинформация напоминает о возможном нападении. Почему-то считают, что именно Приморский край будет направлением китайского главного удара. А почему бы им сразу с нескольких сторон не вклиниться? Когда летом послали на фортификационные работы за поселком Пограничным в укрепрайон, прямо-таки глаза на лоб полезли от созерцания мощи железобетона; каскады боевых укреплений были распланированы еще японцами до и во время войны; теперь они стали круче, толще — и нет мертвого пространства. Тут не люди — китайский ворон не пролетит в поисках толстых русских костей, танк и двадцати метров не проползет, чтобы не подставить бок орудиям.

Майор Блюмкин, наш командир, на работах только посмеивался над нашим восторгом и уверенностью. Вылезший из рядовых во время войны, Блюмкин не прошел — даже не нюхал — академии. Закончив войну в Манчжурии капитаном, он за двадцать пять лет получил только одну звездочку, но всё же надеялся выйти на подполковничью пенсию. Он любил связисток, и еще — читать и рассказывать. Товарищ Блюмкина, пыхтя дряхлеющим телом, часто жаловалась на мужа по профсоюзной и партийной линии, но коммунисту Блюмкину измены жене пока сходили с рук: командир полка его уважал, все остальные знали, что такого артиллериста — днем с огнем не найти — на офицерских стрельбах он из автоматического оружия просто-душно выпускал обойму в центр мишени и уходил, по-отечески жалея краснеющих офицеров-салаг. Он любил играть со мной в шахматы и беседовать.

— Послушай, Мальцев, знаешь, что про тебя говорят? Что едва окажешься за границей, так и побежишь искать ЦРУ. Что если, мол, по материальной части не сможешь ничего передать, так идеологической, дисциплинарной диверсией будешь заниматься: какие порядки у нас, какой дух в армии есть, — ты же

и учебную часть закончил. Что на это скажешь? — И добродушно шурился.

— Так, Николай Петрович, вместо того, чтобы там работать, буду бегать и искать штаб ЦРУ, им должно быть интересно знать, как палит в белый свет, как в копеечку, гаубица 1937 года выпуска, да что на утреннюю физзарядку в части не все выходят, увиливают. А что, может, мне там на бутылку водки дадут.

— Нравишься ты мне, Мальцев, прямо скажу, хоть и чувствую, что ты враг. Когда мне в спину смотришь, чувствую — враг. Это объяснить невозможно. Примет нет, только чувство. На войне было проще, по приметам жили: прицепил парень на пилотку цветок — через день-два убьют, если стал петь — ранят. Многие пели, чтоб ранили. Но нравишься ты мне, с тобой интересно.

Мне быстро надоедали его чувства и заинтересованность.

— Николай Петрович, а ведь как границу закупирили — не сунуться! А если желтомордые и сунутся, так ведь трудно им будет. Знаю, что хорошими солдатами стали, война в Корее доказала. А как они погладили Индию — так просто пальчики оближешь. Главное, у нас же содрали уставы... да и политинформация по несколько раз в день, чтобы из головы не выветрилась, — тоже в некотором роде у нас взяли.

— Мальцев, Мальцев, не притворяйся простачком, не подстраивайся под меня, я — старый воробей, меня на мякине не проведешь. Что сильны они — знаю, и ты знаешь, хотя есть дураки наверху, которые не хотят понять. Но если ты думаешь, что это, — Блюмкин показал рукой на нагромождения укреплений, — долго продержится, то ты глубоко ошибаешься. Они всобачат танковый клин и по трупам да по коробкам танков пройдут! Они после Великого скачка всю сталь кустарную на танки переплавили, этого добра у них теперь довольно, они это дерьмо и по-

шлют на прорыв укреплений. Скажу тебе, друг Мальцев, коли ты недокумекиваешь, что все мы здесь по сути дела смертники, обыкновенные камикадзе. Войска Приморского края должны задержать продвижение противника максимум дней на десять. Но и это непосильная задача, может, дней пять-шесть удастся. За спиной нашей будут разворачиваться силы. А быть может, оттянем мы на себя как можно больше китайских войск, заставим их сконцентрироваться и уничтожим одним ядерным ударом — да и нас, грешных, для общего блага сметет вместе с ними. Похожее часто случалось во время войны, масштабы теперь изменились, только и всего. Не строй себе, Мальцев, иллюзий на этот счет. Будь солдатом, на посту открывай два глаза да третий на затылке... чтоб быть живым солдатом...

Мысли до границы и обратно были невеселыми, только Блюмкин да командир полка в них были теплыми. К офицерам, провоевавшим войну, солдаты относились с уважением, которое часто называется солдатской любовью. При случае называли по имени-отчеству и давали им добрые клички: Папаша, Скелет, Пузан. Они не относились к солдатам по-отечески, как по преданиям водилось иногда или часто в царской армии, но для них устав был не догмой, а живым и необходимым, слегка подвергающимся модификации, в зависимости от обстоятельств, охраняющим от всевозможных воинских бед законом. Они были людьми, психологами в казарме и в поле. Они часто наказывали суровее, чем невоевавшие офицеры, принимающие высокомерие за авторитет, неукоснительное и точное выполнение буквы устава считающие верным путем к дальнейшему продвижению по службе. Но отвоевавшие войну офицеры никогда не оскорбляли солдатского достоинства. Подходил, скажем, Скелет к провинившемуся и заговаривал:

— Что, брат, попался... Эх, пить можно, попадаться нельзя. Какой же ты солдат после этого? Что делать? Всучу-ка я тебе суток десять губы, не обишься?

Никто не обижался.

Среди срочников часто возникали разговоры о будущей судьбе многих офицеров-салаг: «первый бой и первая пуля». Эти разговоры уходили в глубь истории: вероятно, как появилась армия, возникло желание нижестоящих убивать вышестоящих, привычка к оружию легко нажимала пальцем на спуск. Во время войны убийства офицеров, в основном, происходили по пути на фронт, где кривлянья возможной смерти уже качались под потолком вагонов над головами, а дисциплина и абсолютная власть над солдатом еще не покидали офицерские мозги.

Невидимое присутствие китайцев под боком создавало напряженный сгусток невольного ожидания, главный элемент которого — страх — порождает то злобу, то растерянность. Многие искренне ждали войны, чтобы рассчитаться с одноклассником в офицерских погонах, заставляющим их — с презрительной гримасой на опухшем от тоски и пьянства лице — чистить галюны, скрести полы осколком стекла до белизны и многое другое. Ходило изречение: «советского солдата можно убить, но издеваться над ним нельзя». И оно всем нравилось. Дальше бессильных угроз дело, однако, обычно не шло. Правда, из «секретки» раз пошли слухи, что в Спасске Дальнем один малый во время утреннего развода выскочил с автоматом и стал палить по офицерам: шестнадцать человек положил, пока дежурный одной из рот не прикончил его из карабина из окна оружейной. Так никто и не узнал, отчаялся ли парень, накурился ли какой травы, или решил со смыслом для себя покончить счеты с жизнью. Никто и не интересовался (в рапорте написали, что рехнулся)... да и опять же... кому все это нужно знать?

Я полулежал в кабине не шевелясь, прислушивался к мыслям, ушедшим от границы в часть, тормозившим ее обитателей, меня самого. Холод вертелся вокруг, нащупывая слабое место, чтобы вгрызться — тело, анаша и перцовка прогоняли его.

Я словно со стороны наблюдал за этой борьбой, и от этого становилось сладко, почти томно. За дверцей раздался тонкий звук, похожий на писк издыхающего в мышеловке мышонка. Я ногой толкнул дверцу и включил фонарик. Невидимое небо очищалось, ветер ныл, как от зубной боли, гнал пустые тучи к концу земли, на восток, только безразличная серповидная штука, нагло-большая, висевшая среди окружающих ее звезд, не шевелилась, не мигала. Она яснее моего фонарика осветила упавшего с подножки тягача салагу. Это был один из моих. По тому, как он медленно поднялся, я понял, что холод его почти доконал. Это было не мудрено, при таком морозе в сапогах можно было не очень страдать, только без отдыха двигаясь. Я протянул ему руку:

— Давай. Залазь. Тебя что, из палатки турнули? Нечего лезть вперед к огню, впереди тебя есть старики и фазаны, об этом помнить надо. На, выпей глоток. Чёрт с тобой, шинель возьми. И постарайся уснуть. Но если утром услышу хоть один писк, пеняй на себя.

Вновь погружаясь в сонные мысли, чувствовал по пришедшему откуда-то знанию, что рука помощи, протянутая мной, была связана с тем местом, где стояла молча танковая колонна.

На вид командир полка не очень-то боится парторга Рубинчика и своего заместителя по политической части, подполковника Драгаева, бывшего учителя истории. Может, и на самом деле не боится, не те времена всё же пошли — насолить при желании они ему

могут, но по-крупному вряд ли, теперь требуют факты. Да им часто и делить нечего, в одной упряжке ходят, звездочки им прыгают на погоны при дисциплине, при отсутствии ЧП в части, при ее хорошей боеспособности, при пятерках на учениях...

Их связывала заинтересованность. Не связывало ничто и ни с кем начальника особого отдела части, капитана Ситникова (кличка: Молчи-Молчи). Его добродушное лицо с носом-картошкой, казалось, не могло пугать никого, голос был мягкий и с оканьем. Появлялся он в казармах редко, никогда не повышал голоса. Но с ним осторожно, хотя с почти открытой неприязнью, разговаривали наши полковники, а лейтенанты и чуть выше — с неприкрытой робостью. Это давало нам злорадное удовлетворение. Только мысль, что и рядовым следует опасаться этого человека, несколько портила удовольствие. То, что пряталось за добродушным лицом Молчи-Молчи, знало всё и всех, каждого солдата по имени-отчеству; иногда он говорил о таких вещах, что, казалось, сейчас назовет кладбище, где похоронена бабушка его собеседника. В дисциплинарный устав он не вступал, только как-то узнавал, кто, а главное куда, ходит в самоволки. Но иногда он появлялся ночью в казармах с проверкой. Даже вежливо-презрительный Рубинчик, находя спящего дневального или дежурного по роте, вспыхивал, ругался, мог дать по шее — и на этом концы шли в воду. Но все знали: если Молчи-Молчи накроет спящего или возвращающегося из самоволки рядового или сержанта (офицеры обычно закрывали глаза на самоволки сержантов, не желая портить их авторитет), то скажет мягким голосом: «Ну, как же ты так! Не стыдно разве? Плохо это!» И уходит. На следующий день парень попадал на губу, а если его личный черный список было достаточно полон для заведения дела, то — под трибунал, затем — в дисбат.

Но чувствовалось, что офицеры остерегались его

куда больше, чем срочники. Тут я себя чувствовал ближе к офицерам. Я у него был на особом счету, в этом я не сомневался. Он знал каждый мой шаг. Стукачи Рубинчика разоблачались, стукачи Трусилова выплывали на Божий свет, но ни один стукач Молчи-Молчи не был раскрыт. Это его окружало ореольчиком всемогущества. А у меня создавалось ощущение постоянного присутствия Молчи-Молчи. И у него не было личной неприязни ко мне или к Свежневу — я это понимал — он только объективно судил, затем разделял вред и пользу. У меня при этой мысли в области затылка становилось скверно, хотелось убежать в никуда, утонуть, как краб в камнях. С другими офицерами было ясно: они прежде всего были уставниками, и, не нарушая статью устава настолько, чтобы попасть в дисбат, я мог выкарабкаться. Спасало, что за каждого отправленного в дисбат они получали выговор из штаба дивизии, а штаб дивизии — из штаба армии из-за аксиомы, что армия — воспитатель (недаром с недавних пор стали забривать и бывших уголовников, чего раньше не было). А от Молчи-Молчи можно было ожидать всего...

Холод вернул меня от полусонных терпких рассуждений в кабину. Открыв глаза, увидев белый мороз на одуревших непослушных руках, стал кусать их. Появилась желанная боль. Только с ее уколами, поднимающимися вдоль по руке в плечо, в сердце, понял, что произошло: я был без шинели; салага, содрав ее с меня, сопел рядом, закутавшись в две. Ярость схватила меня за горло, затем моими руками вышвырнула салагу из тягача, благоразумно оставив в пальцах шинель. Парень, проснувшись при падении, полз к краю плато, затравленно озираясь.

Я подумал: «Нет, нельзя-таки безнаказанно творить добрые дела», — и захлопнул дверцу. Усмехаясь

подумал, только отдаленно чувствуя в себе толчки уходящей ярости. Согрела, разливаясь по жилам, перцовка, руки становились гибкими, добрыми... Счастье, как всегда нелепое, вошло в меня; и стало легко излучать радость на все окружающее. Счастье моей головой высунулось из тягача и прокричало:

— Эй, сволочь, вали сюда! Ты просто спятил, парень, забудь на время, что ты подлец, иначе не выкарабкаешься. Понял?

Дрожащий от радости салага подбежал, закивал головой, жалко скрючился в углу кабины.

Сквозь липкую ночь медленно пробивалось утро. Сон, к утру окончательно переборов холод, становился тяжелым, черной ямой. Долго расталкивая, вытаскивал меня Колька из этой ямы.

— Святослав! Святослав! Да проснись же ты! Дай перцовки, у меня уже душа прилипает к костям.

Открыв глаза, увидев измятое Колькино лицо, почувствовал спокойную радость. Он мне был другом в эти минуты. Часто, когда мы молчали вместе, я испытывал родственную близость, исходившую от него, близость от пережитого прошлого, близость от того, что могли бы спорить и молчали, близость от желания молчать, зная: стоит открыть рот, чтобы стать чужими друг другу, часто врагами.

Забрались под Колькин брезент в кузов. Как теплые рукопожатия, передавалась бутылка. Свежнев, вдруг вытащив из-за пазухи бумагу, со значительным видом протянул ее мне. Это была карта. С таким крупным масштабом подобная карта могла быть только штабной. Достать ее в штабе можно было, только украв. На ней было намалевано черной тушью «совершенно секретно». Я нашел на ней наше плато: до китайцев было четырнадцать километров, никогда еще учения не проходили так близко от границы. Вернул Кольке карту. Пошарив по моему лицу глазами, Свежнев сказал:

— Ты заметил, что снарядов выдали больше, чем обычно, что много кумулятивных?

— Теперь замечаю.

— Послушай, Святослав, сколько лет тебе было, когда привезли тебя в Союз?

— Девять. Странно и подумать здесь, что родился я в Алесе, есть такой городок на юге Франции, наверно, очень тихий и чистый, наверно, с очень многими счастливыми людьми. И было мне месяцев восемь, когда мои родители переехали в Париж, город, в котором революции кажутся развлечением народа. А почему ты спрашиваешь?

— Русский ли ты?

— Мать русская, отец — поляк, впрочем в крови и татары, и цыгане есть, так мне говорили.

Свежнев не улыбнулся.

— А ты русский?

В его глазах была угрюмость.

— Я понимаю. Ты видишь войну. Мои родители давно жили во Франции, в пятидесятых годах репатриировались. Говорили мне, что от России мало что осталось, от русского же человека остались нос да покорность. Нет, вряд ли я русский. Я советский, друг Свежнев. Ты понимаешь, что это такое?

— Понимаю. И мне жаль тебя.

Мне оставалось только грязно усмехнуться:

— Себя пожалей. Великоросс! Былинно звучит, смешно звучит, грустно, быть может. Ты русской своей совестью будешь защищать советское знание. Ты будешь защищать исконные русские земли от китайского завоевателя, не так ли?

— Да. Защищать Россию от любого внешнего врага — это мой долг. Это не только история России, это история русского характера, русской души. Ты, советские исчезнут, а Россия останется. Чтобы она осталась, она сама должна освободиться от всего, что ее душит, поэтому мой долг драться не только с ки-

тайцами, но и с любим, пусть самым добродушно и демократически настроенным внешним врагом...

Свежнев произносил слова твердо и убежденно. Я не хотел им верить.

— Нет, друг Свежнев, ты не можешь быть тем, кого рисуешь. Выпей и успокойся. Твои родители — русские интеллигенты, ты сам мне говорил, что происходишь из рода Свежневых, издревля дающих России законодателей, художников, архитекторов. Русская интеллигенция всегда болталась между народом и властью, как дерьмо в проруби. Наша власть правильно их заклеимила, в сущности, обидной кличкой «прослойка». И ты, подобно им, мечешься, только нет у тебя свободы и знаний, которыми обладали они. Ты не можешь понять, что поздно уже, ты искалечен. Ты ищешь свой долг, не понимая, что долг — это идея. И что идеи меняются... Эй, оставь перцовки! У тебя же нет идеи, потому что никогда не было свободного знания. С рождения советское знание вливалось в тебя, когда каплями, когда волнами. Ты можешь бороться с самим собой только через это знание, другого у тебя нет. Ты хочешь изменить мир, но ничего не можешь дать ему. У тебя нет идеи, есть только понимание лживости твоего знания и преступности настоящего. Ты и за шовинизм прячешься от своего незнания. Я не прячусь. И я не путаю долг с обязанностью. Быть солдатом — обязанность, которая не должна меняться от политической точки зрения, от идей. Посмотри на ребят, сколько миллионов их в армии? Десять? Пятнадцать? Они в армии, потому что это их обязанность, и в эту обязанность входит параграф, что если нужно кому-то, кого они не знают, кому-то, из-за кого они никогда не узнают, что такое свобода, если нужно — то надо умереть. И они умрут. Ты же сам видишь, чувствуешь. Коля, скажи, ведь ты сам гордишься нашей армией. Гордишься, чувствуя ее силу. Ты ведь с тайным удовольствием читал, как

наши танковые колонны ворвались в Чехословакию. Ты осуждал, радуясь... Вспомни.

Передавая мне бутылку, Свежнев сказал:

— Ты как наемник, в тебе нет чувств. Ты — чужой. Ты не можешь понять, что многие, миллионы, не понимая, чувствуют, что, защищая Советский Союз, они защищают Россию в нем, они часто не знают разницы, думая, что СССР и Россия — это одно. Ты уедешь, а мы останемся со своими ошибками, с непониманием, но и с чувством, что, несмотря ни на что, мы есть, и несмотря ни на что, есть борьба с несправедливостью. Будучи советским, я всё же русский, а ты — нет.

Я замахал на Кольку руками:

— Хватит, ты мне в морду еще дашь. Подожди, завтра, может быть, нас всех китайцы перебьют. Успокойся.

Свежнев повернулся ко мне спиной.

Мне было грустно смотреть на его спину, под брезентом она была светлым пятном. Я не мог оторваться от мысли, что его презрение ко мне внушает уважение. Чёрт! Дон-Кихот Новосибирский! Действительно, русская порода, свет ищет, справедливости хочет. Готов за тридевять земель в тридешатое царство за «сам не знаю что» пойти. Не хочет видеть правду, а правда в том, что того, кто не умеет подчиняться — научат. Кто не хочет — того заставят. Кто не гнется — того ломают. Бывает, раздумывает человек, гнутья ему или нет, а его уже сломали.

Наступило утро. Все радовались ему, безразлично пришедшему. Будет движение — будет и тепло. Ушла опостылевшая ночь, встало солнце-мачеха... и ему рады, вприглядку можно погреться. В кабине тягача всё еще спал салага. Я разбудил его:

— Подъем! Не у тети за пазухой. Фамилия как?

— Штымчиков-Тульский. А зачем, я ведь ничего не сделал.

— Ну и фамилия... «ничего не сделал». Может, к ордену хочу тебя представить. Сволочь ты, а в морду не получил, значит хорошим солдатом будешь.

Чичко, выскочив из будки, заорал:

— Подъем! Приготовиться к маршу!

Мечта о горячей кружке чая ушла, все бросились к орудиям, взвыли моторы. Вся жизнь, все существование ушло в усилие успеть управиться за десять минут. Калеча белую ткань, нежно покрывающую землю, батарея спустилась с плато и пошла на северо-запад, к границе. Многие не знали этого, кто знал — не понимал, кто понимал — молчал. Разговор с Колей был борьбой слов, теперь гусеницы волокли нас к его смыслу: обязанность или долг? Или когда появится смерть, никто не будет слушать свою совесть, никому не будет нужно...

Шли броско и недолго, впереди указывал дорогу утепленный командирский ящик на колесах. По приказу орудия раскинули станины между двумя угрюмыми своей одинаковостью сопочками. Впереди неподалеку маячила в зыбком хрустале воздуха их грядка, лишая глаза простора. Прицел и дальность из КП пришли сразу. Дальность была одиннадцать километров.

Ко мне подошел Свежнев. Загородившись стволом и моим телом, он вытащил карту, украденную в штабе.

— Смотри. Это точно пункт 3-6. По китайцам бьем, там должна быть их застава на краю поселка.

Раздался приказ Чичко:

— Приготовиться к ведению огня!

Все бросились по местам.

— Заряжай! — скомандовал я автоматически, не слыша своего голоса.

Впервые доходило, что кусок стали, который Нефедов просовывал в ствол, разрушит дом, осколки его будут резать людей надвое, вырывать грудные клетки, один отсечет, выдыхаясь, голову ребенку, лежащему в колыбели. Стало гадко. Вероятно, картины, являвшиеся

Свежневу в эту минуту, были не лучше моих. Он позеленел, тупо глядя на свои пальцы, крутившие винт прицела. Я вытащил из сумки красный флажок, разматал его. Мысли облачались в слова, полные желчи, направленные на Свежнева, но ни горло, ни рот не пропускали их. Теперь не положено. Слова уходили вглубь тела, усиливая свой смысл.

— Застава на краю поселка, друг Коля? Или на краю поселка застава? Давай, выполняй свой долг! Я буду — свои обязанности. — И взмахнув флажком, я гаркнул: — Огонь!

Шли, весело урча, кумулятивные, осколочные, где-то падали, как могут падать снаряды, не направленные корректировщиком, посланные на авось, на сектор. Боеприпасы тратили щедро. На учениях подобный огонь ведется разве что в присутствии на батарее генеральских погон. Здесь же был обычно скупой командир полка. Он не вылезал из будки, что также было необычным. Большинство ребят только с зубным скрежетом следило за очередным снарядом, невидимо уносящимся к чёрту на рога непонятно зачем, оставляя в стволе копоть и прочую мерзость, которую им же придется скоблить не один день. Подошедший Быблев сказал, в сердцах кивая на командирскую будку:

— Задали работу. Сколько в парке за чисткой после поля проторчим, не видать нам, как пить дать, увольнения с месяц...

К нему с дрожащим лицом обернулся Свежнев:

— Заткнись, христосик. Сволочь!

Уловив движение, словно Свежнев хотел наброситься на Быблева, я резко вмешался, загородив Быблева. Я не мог, издевка рвалась с языка:

— Ты чего нервничаешь, друг Коля? Он ведь не знает, что ты китайских детей убиваешь. Он ведь не знает, что ты высокий свой долг выполняешь.

Говорил я тихо. Свежнев следил за словами с мертвым лицом. Выслушав, слабой рукой дал мне пощечину. Видели только Нефедов да Быблев. Остальные слушали звуки улетающих снарядов. Ударив, Коля равнодушно опустил руку, глаза его были во все лицо. Злоба, поднявшаяся во мне, была слишком большой, чтобы я мог его ударить. Да и не место. Не время. Позади Нефедов готовился вмешаться, не допустить драки, верней, избиения. Я отступил, сказал:

— Тютя. Нервы.

Нефедов пожал плечами и выхватил из ящика снаряд. Эпизод не занял и минуты. Стрельба продолжалась, пока Чичко не завопил:

— Прекратить огонь! Приготовиться к маршу!

И вновь белая пустыня, с торчащими на ней черными обветренными сопками, пятилась от нас — и всегда была впереди. Кожа на лицах одубела, руки привыкали к обжигающему металлу орудий.

8

Следующий день был 23-е февраля — день рождения нашей армии. К привалу прикатили Рубинчик и Драгаев. Было холодно, их речи тянулись недолго, восклицания и призывы были краткими. Драгаев рассказал о русском историческом прошлом и советском настоящем Уссурийского края; Рубинчик — о китайских шовинистах, предавших дело Ленина и ведущих милитаристскую политику, желая отторгнуть у Советского Союза исконные его земли.

Земля была теплее брони, все сидели и терпеливо ждали конца. Только у Свежнева был вид, будто он готов с цепи сорваться. И сорвался:

— У меня несколько вопросов, товарищ подполковник. Почему наша армия перестала быть добровольной? и что такое военное преступление?

Он закапывал себя живьем. Ребята недовольно зашумели. Рубинчик перевел застывший взгляд с Коли на них и понимающе улыбнулся:

— Это, рядовой Свежнев, вопросы сложные, двумя словами не ответишь. Да и не место, холодно тут у вас. Напомните мне в части, я вам подробно всё расскажу.

После собрания, во время перекура, ко мне подошел замполит полка Драгаев:

— Младший сержант Мальцев, вы знали, что ваша мать подала прошение о выезде во Францию в апреле 1965 года?

— Так точно.

— Почему не доложили?

— Инициативы нет, товарищ подполковник, но обо всем рассказал в Уссурийском особом отделе, там меня долго спрашивали и хотели, чтобы я долго отвечал.

— Всё шутите, Мальцев... Зря. Дело в том, что ваша мать получила разрешение уехать. Мы бы вам дали семидневный отпуск, но, увы, идут учения.

Я только улыбнулся:

— Но вы, разумеется, получили извещение до начала учений. Разрешите идти?

Драгаев удивился:

— У вас больше нет вопросов?

— Нет, мне и так всё ясно.

Они уехали, оставив во мне давящую пустоту. Мать была единственной надеждой, спасеньем. Сможет ли она оттуда сделать всё, что нужно? Я готов был молиться. Молчи-Молчи был явно замешан. Только ему было нужно, чтобы я не уехал. Остальные только рады были бы избавиться от меня, от «француза», которого посадить-то хорошо, да вот только кто знает, потом хлопот не оберешься, уехать хочет, с Москвой связан, Москва им интересуется...

Не думать, выждать. Тело привыкает к суровости, сердце — к разлуке. Как можно привыкнуть желать свободы, не зная, не испытав ее — тайна.

Карабкались дни учений, мозолями каменели руки при рытье окопов, никогда не дорываемых до конца; иногда переходили на другие позиции в трехстах метрах от старых и начинали всё сначала. На пятый день увидел вновь посеревшее лицо Свежнева. Со мной он не разговаривал, лишь повторял приказы. В тот день израсходовали почти все боеприпасы. Я следил: не меняет ли Свежнев прицел. Он не менял, снаряды шли точно. Что сделали эти сотни снарядов? На кого упали? Никто не спрашивал.

Через несколько дней (никто их уже не считал) прибыл Молчи-Молчи. Пробыл недолго и испарился. На лбу у командира полка после беседы с начальником особого отдела была написана ярость, будто кто тавро выжег. Никто ничего не понимал, только много позже проползли слухи, что наше механизированное соединение без разрешения Москвы продвинулось более чем на сотню километров в глубь китайской территории с провокационной целью. С какой? Может, вызвать войну, может, попугать. Выходит, с той же целью мы убивали там кого-то... Китайцы не шелохнулись, будто ничего не произошло. Либо они предвидели, что далеко не пойдут, и не хотели раздувать пожара, либо знали, что Москва вмешается... Чёрт их знает. Только я тогда удивлялся, почему они не отвечали на наши выстрелы; чего-чего, а гаубиц у них хватает.

После отъезда Молчи-Молчи учения передвинулись на запад. Со временем всё стало на свои места: салаги умудрялись отыскивать себе теплое местечко ночью или выторговать караул, за их голенищами появились ложки, а главное, их движения стали сдержаннее, они учились сдерживать желание отпихнуть другого от котелка с пищей, от места возле огня. При-

выкая к боли, душевной и физической, они вновь стали искать наслаждения. Однажды, когда покидая день земля стала погружаться в закат, я заглянул, проходя, в кузов тягача. Там, полускрючившись на автоматах и ручном пулемете, лежал Штымчиков-Тульский и занимался онанизмом: его губы изображали поцелуй, вторая рука гладила щеку, сапоги ласково терлись о воображаемые нежные ноги женщины. Был ли он жалок перед очередной агонией солнца? Я подумал об этом, видя обоих: солнце и салагу — и решил, что нет.

Ко мне подошел Нефедов, я оттащил его от тягача, слушая на ходу.

— Святослав, с Колей худо, у него в глотке на glandах какая-то гадость выскочила. Приказал мне ничего тебе не говорить, но ведь знаешь его, психа. Я решил тебе сказать.

Старик не болел на учениях. Медсанбаты в частях были полны покалеченных и симулянтов, но и в части редко кто вправду заболел. А на учениях валялись в грязи, днями ходили мокрые, но простудой никогда не пахло. Нервы давали броню. Эти же нервы забрали ее у Свежнева. Или отлежится, или отправят в часть, а я останусь без наводчика.

Свежнев сидел возле костра, дающего из-за ветра только впечатление о тепле. Я обратился к нему, будто невзначай:

— Коля, покажи глотку.

Он хрипел и задыхался:

— Отстань. Нам с тобой говорить не о чем, всё сказано.

— Брось. У меня ведь тоже нервы есть. Прости, ведь сдуру же ляпнул.

— Нет, есть слова, которые нельзя произносить.

Я вдруг, по злости, в которую меня бросил Свежнев, почувствовал искренность своих слов. Я действительно хотел, чтобы он меня простил. Но отбросил эти чувства, как глупость.

— Вот же тип, а Нефед? Помирает, еле дышит, а с нравоучениями лезет. Скажи лучше, давно это у тебя?

— Два дня.

— Покажи глотку. По дружбе, чтобы я тебе, гаду, не приказывал.

При помощи фонаря увидел на гландах три спелых гнойника, не удивительно, что он еле дышал. Если они лопнут во сне, то можно и не проснуться.

— Так, ясно! Если потерпишь, я тебя вылечу. Не бойся, у меня родители врачи. Нефед, выстругай палочку. Жаль, что водка кончилась. Ладно...

Прорезав штыком бушлат, порылся, выбирая хлопков почище. Окутал им палочку и, приказав Нефедову держать Кольку покрепче, полез давить нарывы. Нефедов одной рукой держал его, пальцами другой не давал закрыть рот. Я просунул палочку и нажал. Густо потек гной. Его было больше, чем я ожидал. Едва Нефедов отпустил свои лапы, Свежнев рухнул от боли. Мы его подняли, дали выпить мой НЗ — банку сгущенного молока. Потом, заставив его вдохнуть анаши, отнесли к тягачу, выгнали оттуда Штымчикова-Тульского и положили на теплое место. После боли и страданий холодный ветреный мир вокруг был ему колыбельной песней, и он уснул.

Под конец учений Свежнев сказал мне:

— Ты понимаешь, что мы с тобой стали убийцами?

— Нет, только понимаю, что я — солдат.

На его лице была искренняя боль. Он один среди тысяч считал, что свершилось преступление. Кроме него, быть может, только китайские крестьяне, на которых низвергались, вопя, снаряды, были с ним согласны. Он считал, что война стала бесчеловечной с тех пор, как ее поставили вне закона. Ставши незаконной — она потеряла свои законы. Так думал Свежнев и, может быть, некоторые другие. Люди быстро

привыкают быть бесчеловечными, для этого им даже не нужно забывать, что они — люди. К чему были слова Свежнева, если они растворялись, казались незнакомыми? Да и хотел он невозможного: быть честно объективным и патриотом. В моем страхе за себя я ощущал, как нечто успокоительное и бодрящее, страх за Колю. Игра в кошки-мышки шла уже давно, мы с Колей были наглыми мышами: я — поневоле, Свежнев — своей охотой.

На губе естественно не мыться, сохраняя на лице и теле теплую грязь, спать на двух досках, сложенных крестообразно, прятать окурки в стены, чтобы при обыске не нашли и не дали несколько суток добавки, стараться остаться мыть полы, когда охрана выгоняет губарей на работы. Хорошо сидеть в общей камере, где зимой объявляется конкурс на бóльшую вонь перед отбоем, на вонь, отбивающую запах холода. Цель — добыть и съесть как можно больше гороха и выиграть конкурс, получить приз — пачку сигарет. Жить можно. В одиночке хуже: холод больше, ругань не развлекает, отскакивая от стен, мысли путаются, сны бродят вокруг человека и беспокоят.

Но есть на каждой губе камера, иногда превращающаяся в «собачий ящик». Входит губарь и видит застеленную койку, тумбочку рядом, на ней пепельницу, возле пепельницы солдатский политический учебник «На страже Родины». Видит это губарь и понимает, что он уже не губарь, а подследственный, что из этой камеры пойдет он не в казарму, а под трибунал, а оттуда в дисбат. Иного пути нет. Последним на нашей губе в «собачьем ящике» побывал Леонид Волошин, кавказский горец из разведроты. Это было месяца три назад. Тогда старуха из Покровки пробежала, нагнетая воздух воплями, мимо КПП прямо к штабу. Там, живо обрисовав личность Волошина, она стала сетовать по поводу своих кур. Оказалось, что пьяный

Волошин пробрался в ее курятник и изнасиловал всех старухиных кур, которые, не выдержав страсти Волошина, погибли. Из штаба долго неся дикий хохот офицеров.

С год назад во Владивостоке двое солдат, напившись до чёрт знает какого змия, убили старика, а потом изнасиловали мертвое тело. Наутро они ничего не помнили, что не помешало военному трибуналу их расстрелять. С Волошиным было веселее: истоптанные любовью Волошина куры вызывали смех и ничего кроме смеха. Командир полка предложил покровской старухе сделку: раз куры погибли насильственной смертью, то они вполне съедобны. А раз так — он покупает их, и дело в шляпе. Старуха была очарована. Но Молчи-Молчи не дал спустить концы в воду: Волошина арестовали и повезли в Уссурийск на медицинскую комиссию, которая почему-то сочла пациента вполне нормальным. В ожидании трибунала Волошин попал в «собачий ящик». Он там тягуче кричал три дня, пока ужас перед настоящим и будущим не вырвал у него язык. Ему дали мало — три года: вероятно, не страх, застывший в глазах Волошина, побудил судей к мягкости, а всё те же куры.

Полуоткрытые двери «собачьего ящика» часто появлялись передо мной в уродливых полуснах о моем предбудущем. В них же у Коли не было будущего, в них он не хотел будущего, предпочитая ему чудесное человеческое лицо, уходящее безымянно, без времени, во тьму. После подобного сна, создаваемого силой желания, я верил, что судьба указывает на Колю, что он раньше меня попадет в «собачий ящик». Боялся ли я этого ящика. Пожалуй нет, я просто не хотел в него, не считая высшей мудростью стать мучеником. Нет, я достаточно уже натворил. Кто знает, может, тень этого кретина Осокина, лейтенанта Осокина, будет лет через десять являться по ночам. И Таня...

Тягач полз к части и, казалось, подминал под себя прошлое. Но не всегда прошедшее становится прошлым.

9

Прошедшее... Над учебкой дальней связи в/ч 44531 стоял тогда октябрь. Столица нашего мира, село Сергеевка, сливалась, глядя с ближайшей сопки, с зелено-коричневым маревом горизонта. Октябрь. Учебка подходила к концу, оставшиеся впереди два года казались домом отдыха. Теплая вода, привозимая из Сергеевки, пилаась без гримас, ее тухлый, железно-кислый вкус растворялся в надежде на будущие лучшие перемены. Экзамены были позади, отличники ждали назначения на должности начальников аппаратных дальней связи, остальные получали должности связистов, телеграфистов и т. д. Ходили в свободное время, появившееся теперь, вокруг штаба и нюхали. Возле фамилии Мальцев стояло: Курильские острова. Я радовался: климат там совсем гнилой, значит кормить будут по первому эшелону да и дембельнуть могут до срока, до зимы. На душе было весело, красно.

День тот был банным. Позднеосенние дни все с большей силой притягивали к себе вечер. Все валялись на траве, ожидая построения. На потолке земли вертелась уже вся в нежных жилочках луна. Вокруг коричневые тона, смешиваясь с зеленью тоскующих по смерти трав, создавали в душе уют и приятную мысль о том, что от прекрасного до прекрасного все проходяще. Развалившись на траве, я думал не о подползающем энцефалитном клеще, а о гуннах, двигавшихся кучу веков назад из этих земель на завоевание вселенной, гоня перед собой разрушение. Воздух, ленивые позы ребят вокруг покоряли таким покоем, что видения пожарищ и зловещих гуннских лиц текли во мне

приятной струей. Рядом полулежал с сосредоточенным видом Свежнев. Я притворно вздохнул:

— Да, скоро расставаться. Может, получили бы мы одно направление, так нет, чудил.

Свежнев не поднял глаз:

— Не чудил, а пробовал остаться человеком.

Как бы в ответ, только меланхолично промелькнула мысль, что он, увы, не притворяется, произнося подобные слова, прекрасные, но слишком слабые перед жизнью.

По дороге, ведущей мимо кладбища к Сергеевке, шли бодро, сохраняя на лице по привычке мрачное выражение. Шаги не печатали, надоевших песен не пели. Против устава не все свертки под мышкой были белыми, и от этого создавалось впечатление свободы. Не прошел год даром; бывало, шел солдат в баню, засыпая на ходу, а внешне: ноги чеканят шаг, из глотки вырываются нужные слова песни; так рокошет песня вокруг собственных ушей, что подчас не знаешь, ты ее или она тебя поет. И не только это, год учебки высушил желания совершать бессмысленную жестокость или благодеяние, появился и утвердился инстинкт рациональности.

Улицы села были по-вечернему пусты, лишь собаки во дворах громко ссорились со всем белым светом да в Доме офицеров тараторила музыка. В бане устав переставал существовать. Врывались в парную, влезали на третью полку и до одурения хлестались вениками. Казалось, не только с тела, не только из пор уходила грязь, но уходила она из прошлого, настоящего и будущего. С раскаленным телом становились под ледяные струи душа, шланга и наслаждались остывающим телом, радостным бездумием, которое появляется при счастье. Одевались медленно, смакуя подобную возможность, нарочито аккуратно наворачивали портянки на ноги, давно покрытые толстым слоем мертвой кожи и потому не боявшиеся ни худых, ни глупых

портянок. Выходили строиться, неся в себе чистоту пара, радость простой радости.

Назад шли, так даже запели от желания существовать, дышать прохладным воздухом, нежно ласкающим физиономию. Не протопали и двух километров, как армейский «Газик» перегородил путь роте. Из него вышел капитан и скомандовал, звонко крикнув в вытянувшийся перед ним строй:

— Курсант Мальцев!

— Я!

— Выйти из строя!

— Есть!

— Снять ремень! Сесть в машину!

— Есть снять ремень! Есть сесть в машину!

Только лишившись ремня, что означало арест по всем правилам, только оказавшись в машине зажатым с двух сторон верзилами из комендантской роты (разглядел их красные петлицы), понял, что всё происшедшее касается меня. Настолько автоматическое, что казалось добровольным, выполнение приказов работало защитную от инстинкта самосохранения функцию желать нежелательного. Постепенно, после свершаемого мной и надо мной, проникали словно извне в мозг мысли, ищущие логику: почему? Почему арестовали, почему везут в Уссурийск? Ужас неизвестности подобен страху смерти, необъяснимое калечит мужество или, вернее, слабеет страх перед известным. И сумасшедшая, странная покорность овладела желаниями на весь дальнейший путь.

Ребята из комендантской роты гримасничали чисто по-солдатски, спрашивали грязными выражениями лица, пошлой мимикой, более ясной на лице, чем все остальное, что дал вчерашний вечер, свободный от погони за прогульщиками, показывали и обрисовывали языком формы и ценность последней женщины, с которой имели дело. Сидевший рядом с водителем капитан изредка оглядывался, скупно улыбался моим сидел-

кам, к которым я не испытывал ничего, кроме понимания, и вновь оборачивался к дороге, бросив на мою грудь тусклый взгляд.

Деревянные вперемежку с каменными дома Уссурийска на взвизгнувшем повороте предстали в своей унылой безлюдности. Дом, перед которым остановился «Газик», был по-военному опрятным, клумбы вокруг него были чисты грубой опрятностью: очищенные от травы грубые комки земли, в сухости лежащие, обхватывающие нежные растения, говорили о тупом желании солдат махать сапкой по чужеродной им земле.

Провели меня в мягкий кабинет к сидящему в нем майору. Увидев меня, ставшего по форме у двери, он воскликнул, играя трогательными тембрами мягкого голоса:

— Слава! Входи. Чего стал на пороге, как перед мачехой? Тут все свои. Садись.

Я, в гимнастерке без ремня, — а рядом рожи, ждущие приказа, — задрожал от этого голоса. Почему привычный мат не достигал ушей? Почему нарочитая пена от нарочито привычных угроз не исходила от начальника особого отдела дивизии? Почему он, добродушно улыбаясь, звал меня к себе, дружески протягивая пачку «Беломора»? Передо мной заиграл в черных лучах воображения «собачий ящик», в некрасивом страдании предстала отвратительная нежность палача. Я сел, взял папиросу, посмотрел на майора в зеленых петлицах, как на осторожного зверя, каким был и я сам. Он округлил до изумления глаза:

— Так ты не в Союзе родился?

— Нет. Во Франции. Так необходимость захотела.

— Захотела? Ах да, ты ведь на истфаке учился. Да ты рассказывай, не стесняйся.

Я поглядел на него, как смотрят на человека, который вытягивает у простачка деньги, говоря, что

это для его же блага, и начал короткое повествование:

— Да. Мать — русская. Отец — поляк. Мать уехала во Францию еще ребенком, до революции, там встретила отца. Оба коммунистами были и художниками, соцреалистами. Вот и решили они поехать на родину матери, оба кончили мединститут... не знаю, что они решили, мне тогда было лет девять. Приехали. Вот и все.

Майор улыбнулся, погладил ладонью воздух вокруг себя:

— Всё, да не совсем. Я тебе еще пару вопросов задам. Вы ведь не только с матерью прибыли, еще ведь бабушка была. И когда твой папаша вновь уехал? И почему? Ты вспомни, время у нас есть. У нас много времени, на всё хватит.

Через несколько часов или веков — в этом кабинете не было времени — вошел другой майор, и допрос продолжался, уже перекрестный. В конце концов выяснили, что мой отец, живущий где-то во Франции в каком-то Билли Монтиньи, каким-то образом узнал адрес части и написал письмо. Лучше он ничего выдумать не мог! Это известие вывело меня из неизвестности и поразило глупостью. Разумеется, после этого особому отделу не составило никакого труда углубиться в мое дело, узнать мои демократические настроения в университете, мое исключение, желание уехать во Францию, — будь она проклята! — и все остальное. Глухая злоба к отцу, к Франции, миражем крутящейся в моих снах, к французам с легковесными глазами овладела мозгом и чувствами.

Пока шел допрос, человек в генеральских погонах решал, что со мной делать; сидел ли он этажом выше или в смежной комнате, слушал ли он допрос или нет — не это решало. Засунуть или, вернее, пропустить неблагонадежного, с более чем испорченной репутацией, в учебную часть, изучающую секретную (пусть

только на бумаге) аппаратную дальней связи «Ястреб» — прямо-таки плохо, втыка не будет, хуже — смеяться будут.

Я старался на все старые под новым соусом вопросы отвечать не стандартно, модифицировать ответы, сохраняя их старый смысл. Слава Богу, запаса слов хватало. Наконец, майоры встали, выключили свет и, приказав не пытаться его включать, вышли. Вокруг моего спокойного лица текла бесцветная бесконечность, текла, вероятно, долго. Когда они вернулись и растворили ставни окон, я увидел, что свет не покинул землю и что к небу приходит день. Они, конечно, выспались, и им было лень продолжать допрос. Один только спросил:

— Ты помнишь свои слова, свои ответы?

Я спокойно усмехнулся ему в лицо:

— Так точно, товарищ майор, как устав.

Он ответил мне:

— Заткнись... Ты.

Мне вернули ремень, посадили в «Газик» и отвезли обратно в часть, где на меня глазели минут пять, как на воскресшего. Старшина, приказав стать в строй, только проскользнул нарочито равнодушными глазами по обмундированию. Нервы еще цепко держали во мне бессонную ночь, не давали ей пройти к глазам. Лишь к полудню начал меркнуть свет, и окутанная дремой голова стала валиться с вялой шеи. Обычные вечерние три километра бежал, как в бытовом кошмаре, не удивлялся боли, бесконечности метров, тупой тоске. При отбое всё же смог раздеться, уложить обмундирование в положенные шестьдесят секунд и восславить койку перед рухнувшей на меня черной глыбой сна.

Через час после отбоя Свежнев, проходя мимо моей койки, тронул ее ногой. Глыба рассыпалась мерцающей зыбью. Из нее с явью, отталкивающей сон, стал приближаться к сердцу страх... Когда от-

крыл глаза, они были полны им, глупым, мерзким, естественным: «Они пришли, они передумали. Я смеялся на обратном пути над судьбой, а она уже дышала мне в лицо»... Это не были люди из особого отдела, а Свежнев, который незаметно от дежурного по роте звал меня рукой. Гальяон — верное место для разговора, для лакания одеколона. Страх, превратившийся в радость, не дал бы мне сна. Я встал и вышел следом за Свежневым в ночь цвета слякоти. Он ждал меня в гальяоне, где только сигаретой можно было отбить вонь. Закурили. Коля был взволнован:

— Послушай, так это правда, ты из Франции?

— Да. Мне тогда было лет девять.

— И ты хочешь теперь уехать? А наши разговоры? Мы год, как друзья, а ты и не заикнулся об этом обо всем. Ты же сам мечтаешь о демократическом свободном обществе. И ты хочешь уехать, почему? Мы стоим на пороге великих событий: псевдореволюционная широкая экспансия завершилась провалом. Мечта Ленина о мировой революции рухнула. Мечта Сталина, отказавшегося от этого мифа и погнавшего за созданием мировой социалистической империи, также канула в небытие. Мечта Хрущева об экономическом могуществе провалилась. Теперь они стоят на пороге тупика, уперлись лбом в собственную бесполезность. Сверху донизу идет ломка марксистско-ленинского базиса, в самой партии брожение. И кто знает, может, настоящий социализм стоит за этим порогом. Ты ведь слышал про бунты в Тбилиси, в Новочеркасске. И кто знает, что произошло за этот год. И ты хочешь уехать и отказаться от борьбы?! Не может этого быть!

Мы замолкли. Каждый чувствовал себя далеко от обыденности. Я витал в том философском краю, где верховодят мгновенья счастья в суете сует мира, Свежнев прочно сидел в раю справедливости, добытой насилием. Возвращались в казарму связанные пони-

манием своей непохожести на остальных ребят, плывущих в казарме в объятиях прочного сна без снов.

Топали дни шагами Командора. Пустела учебка, ребята отбывали радостные, с любопытными головами, вертящимися на поворотливой шее, а мрак ожидания не сгущался надо мной. Наконец, пришло направление мне и Свежневу. В одну часть. Как отличнику боевой и политической подготовки, мне насобачили на погоны две «сопли» (лыки), назначили старшим над Колей и, дав командировочное предписание, отпустили.

По дороге в Покровку остановились в Уссурийске, командировочное предписание служило охранной грамотой от патрулей. Выпили. Я отыскал возле одной из частей двух солдатских шлюх. Пошли к ним. Свежнев, когда напивался, начинал читать нравоучения, пока водка окончательно не брала верх. Я ему подливал усердно, и он уже через час повалил на кровать первую, попавшуюся под руку. Я так и не смог напиться, а девка вызывала, пожалуй, только желание пойти в баню. Утром, после похмелки пивом, сели в автобус и покатали в сторону границы.

Артиллерийская часть встретила нас приветливо. Никто не удивился, что направили двух военнослужащих, окончивших годовую учебку дальней связи, в часть, где о подобном виде связи только слыхали. Начальник штаба, держа в руках наши документы, сказал:

— Так. Хорошо. Только учтите, во взводе связи вакантных мест у меня нет, так что не мечтайте. Но дело найдется. Вы, Мальцев, примите оружие, а вы, Свежнев, чтоб через месяц были у меня наводчиком. А пока мы вас пошлем размять кости, — покуда дисциплина с вас не спала. Части нужен лес, новый учебный стенд будем строить. Поедете в леспромхоз этот лес зарабатывать. На должность старшины ко-

мандировочного отделения назначаю вас, Мальцев, командиром назначен уже лейтенант Осокин, тоже только из училища. Споетесь. Даю два дня на ознакомление с частью. Всё. Идите.

С радостью внезапно похудевшего толстяка выскочили из штаба и, чувствуя приближение свободы, выраженной в нормальном общении с людьми, в разлетевшейся во все стороны фантазии о душевном покое среди спокойной тайги, помчались, по-детски подбрасывая ноги, к казармам. Ребята встретили нормально:

- Из учебки?
- Да, из Сергеевской.
- Сколько мариновали?
- Четырнадцать месяцев.

Лица ребят покрылись уважением. Артиллерийская учебка тянулась от трех до шести месяцев. Я был спокоен, уважение людей уже само по себе есть власть над ними. Койки нам предложили безъярусные, ибо год учебки равняется двум годам в части. Нас принимали как стариков. Ефрейтор, у которого я принял отделение (оно же расчет орудия), недовольно буркнул что-то, теряя власть и с ней относительную свободу передвижения, тихо и не очень зло. Но инстинктивную злобу ко мне, вероятно, сохранил, так приятнее чего-либо лишаться: хоть эфемерная надежда на месть подслащивает горькую пилюлю. Не помню, отомстил ли он мне? Возможно.

Весь день и вечер наслаждались псевдодисциплиной, покрывающей часть. Обращение к вышестоящим было легким, в движениях ребят замечалась развязанность, пояс ухарски повисал книзу, часто покоился на животе, офицеры же, не замечая, проходили мимо. В столовую шли вольно, многие вертели головами, иногда можно было услышать шёпот разговора. Для нас это уже была свобода. Остановившись возле столовой, мы со Свежневым с изумлением раззявили

глаза, когда после команды вольно вместо того, чтобы колонной по одному входить в помещение столовой, ребята с воем бросились наперегонки к широким дверям. Только одно нам было знакомо — ложки за голенищем. И в учебке начальство не могло помешать перманентному исчезновению ложек. И хотя как солдат я презирал это стадо, кавардак кругом радовал. Так приводит пьяного к блаженству битье посуды в пивной.

На следующее утро во время утренней политинформации это блаженство вышло мне боком. Лейтенант Осокин, недавно окончивший Ленинградское артиллерийское училище, маленький узкоплечий паренек старше меня на год, рассказывал о последних месяцах Великой Отечественной войны.

— Город Кенигсберг, фашистское гнездо, был взят штурмом нашими войсками. Этот город, исконный русский город, был нам по закону возвращен после войны и переименован в Калининград, область также стала носить имя верного ленинца товарища Калинина. Люди, живущие на этих землях, получили долгожданную свободу, которую в борьбе за нее с фашистским гадом щедро полили кровью наши солдаты, освободители Европы от коричневой чумы. Там, кстати, погиб мой отец. Вопросы есть? Я вас слушаю, сержант.

Мне было смешно:

— Вот насчет Кёнигсберга я что-то не совсем понял, товарищ лейтенант. Этот город, насколько я знаю, был основан тевтонским орденом в 1125 году, так что он никак не мог быть русским городом. Правда, там действительно восемьсот лет назад жили славяне, но если судить о русскости с такой точки зрения, то русским в Сибири делать совершенно нечего.

Я взлетал на словах. В ленинской комнате, где происходила политинформация, бродили смешки. Осо-

кин побледнел от страха за свой авторитет и от злобы ко мне:

— Этим гадам еще не то следовало сделать! У меня мать в Ленинграде в блокаду померла с голодухи, отца убили. Всех немцев давно надо уничтожить, до последнего! Давно уже! А ты что, немец?

Но я все взлетал и блаженствовал:

— Как же так, товарищ лейтенант, а международная рабочая солидарность? По-вашему выходит, что следовало поставить к стенке Маркса, Энгельса, Розу Люксембург, а теперь — Ульбрихта?

Хохот взлетел к потолку ленинской комнаты. Вдруг Осокин заорал:

— Встать! Смирно! — и обернувшись, — товарищ полковник...

Командир полка, стоящий в дверях, махнул рукой: — Вольно.

Он посмотрел на ставшие серьезными лица солдат:

— Вот что, лейтенант, хоть по уставу и не положено облаивать офицера перед солдатами... да все вы тут хлопцы. Ты ведь сам видишь, не те времена пошли, теперь солдат ученый, ему палец в рот не клади. Лучше нашего устав знает, не то что историю. Так что ты, лейтенант, учи да слова свои взвешивай, а то не то что уважать перестанут, а просто не начнут. Учись, лейтенант, и других учи.

Осокин стал подобен своему подворотничку. С этого мига его ненависть к интеллигентным белоручкам только увеличилась и уперлась в меня.

Сидели в кузове расслабленно тяжелые, как старое счастье, весело глядели, проезжая КПП, на лица наряда, полные зависти. Вверх, к куполу неба, скользило

солнце цвета жадных губ женщины, теплый с прохладцей воздух ласково завывал на крутых поворотах немудреную песню. Свобода свистела в ушах. Глаза, отражающие вольную траву на сопках, отвыкали на ходу от привычных строгих линий казарм, посыпанных гравием дорожек, от обочин без травинки и цветка. К вечеру коричневые сопки стали реже, разбросанными пучками деревьев тянулась вдоль грузовика лесостепь. Мерк розовый горизонт, когда один из ребят, вскочив с лавки на повороте, заорал:

— Смотрите! Пал! Пал!

В нескольких сотнях метров вправо от дороги стояла крупная сопка, загораживая собой представление об обширности земли. Громадная огненная корона охватывала ее вершину, языки пламени зубчато взлетали, взрывались, соприкасаясь с сухим кустарником. Корона медленно ползла к подножию сопки. Мы чувствовали себя маленькими и пошлыми со своим грузовиком перед этой спирающей дыхание красотой. Из кабины вылез Осокин. Его вспухшее с похмелья лицо замерло. С усилием переборов обрушившуюся на него, как на любого смертного, силу пала, Осокин сказал:

— Ну чего? Не видели пожара? Поехали!

В кузове все переглянулись, покачали головами, что означало: мы еще хлебнем с ним горя. Нас стали окутывать таежные запахи, затем выросла, темнея в темноте плотной массой, уссурийская тайга. После нескольких веселых косогоров грузовик вкатился в Сосновку, село-леспромхоз. К машине подошло несколько баб с кринками:

— Пейте, сынки, после дороги, небось, устали.

Тепло стало от этих слов, мягко и нежно.

Осокину, к нашему превеликому удовольствию, отвели комнату в самом здании управления леспромхоза, нам дали домик на отшибе села. Рядом с домиком икал на крупных камнях ручей; исходивший от него свежий запах внушал ощущение добра. Зеленова-

тые камни в нем — вот и всё каменное достояние деревни. Сосновка была целиком из дерева, разве что трубы печей неестественно торчали над миром древесины: над черным покоем старой, над буйным запахом свежеструганной. Тайга касалась деревни. Жители не валили близстоящих деревьев, делянки отступали в глубь тайги, кажущейся спереди вечномолодой, не раненной.

Покуривая взятый у одного мужика самосад, я стоял над икающим ручейком и глядел на мазки ночи. Мысль о том, что сюда могут прийти китайцы, показалаась противоестественной. Я не задумывался над оправданностью этой противоестественности. Пожалуй, я здесь был единственным человеком, который знал, что по Айгунскому договору, заключенному графом Муравьевым-Амурским в 1858 году, Китай был вынужден уступить России Амурскую область, что по договору 1860 года, заключенному в Пекине графом Игнатьевым, к России отошел отторгнутый от Китая Уссурийский край. Но это знание не мешало мне хотеть убить каждого китайца, стремящегося отвоевать-завоевать эти земли, русскость которых для меня была несомненной — она говорила, дышала, шептала, жила во мне. И мне было безразлично, почему я, Мальцев, мечтающий до холодного исступления уехать во Францию, так думал и чувствовал в ту ночь над мерно икающей водой.

Растоптанная мириадами деревьев заря на наших глазах умирала, не родившись, и день приходил, белый, возникающий отовсюду. В шесть часов утра, сгруппировавшись на окраине села, маленькие, все повидавшие, туго набитые автобусики расползались по тайге.

Работать электропилой «Дружба» научились быстро: через несколько дней почти каждый мог быть с грехом пополам и вальщиком, и помощником валь-

щика, и щикеровщиком. Осокин в первый же день рывкнул, что мы не на курорте и будем работать по двенадцать часов в день с одним выходным. Работали с лентой, по-трое: я вгрызался «Дружбой» в стволы, Свежнев, выбив «kozyрек» из ствола, ждал с длинным острейшим топором, пока от стопа сосны или кедря не громыхнет земля, и шел рубить ветки; третий, Жеия Топоршков, тупой и хитрый пареия из-под Ворожея, просовывал под ствол трос и звал трактор. Таежый гнус набрасывался на нас с необычайной жадностью, комары пробивали носами гимнастерки, мазь не помогала. Мы пухли, как с голодухи, на глазах.

Иногда приезжал Осокин, всегда пьяный, садился на ствол и подгонял нас, рвал перекуры. Это было ошибкой: народ Сосновки невзлюбил его — никто не любит, работая, видеть возле себя праздношатающихся. Ему едва отвечали с сухой неохотой, смотрели мимо. Осокин стал еще больше пить и злобиться.

Только в безветрие, когда можно спокойно наблюдать за уклоном и градусом падения ствола — таежная страда. Мы убедились в этом через несколько дней. От бегающего тумана воздух того утра казался белым, чернота тайги виделась рваной дыркой в чистом грунтованном полотне. У околицы ждал лишь один автобусик с Осокиным за рулем. Над этой необычностью задумались уже на полдороге, когда углубившись, пройдя неприкосновенную зону, спокойно пыхтевший драндулет, плавно ныряя в колдобины, огибал кладбища леса, стволами глядевшие поверх растоптанных кустов. Делянка была пустой, резкий комариный гул, обычно заглушаемый воем пил, неприятно подтверждал ощущение чужеродности нашего появления. Осокин, едва размежив опухшие глаза, твердо проворчал:

— И чтоб была работа, я проверю. Провинившимся одна дорога — в часть.

Уехал. Никто еще не понимал, что произошло. Все разошлись по местам, с грустью поглядывая на пустой склад, где обычно работали женщины-сучкорубы. Первоначальное предположение, что сосновчане взяли себе выходной, испарилось в качающихся стволах. Неслышный, неоощуцаемый внизу ветер тряс верхушки сосен, елей, дрожь издевательски шла по стволу вниз ко все углубляющемуся порезу, переходила по пиле в руки и, завоеывая тело, толкала страх к истерике. Руки остановили движение пилы дальше, чем на половине ствола. Дерево бесилось, словно сопротивляясь смерти, и угрожало мне ею со всех сторон. Убежать, повернуться спиной к неизвестности не хватало сил, от одной мысли взбунтовались ноги, легкой тошнотой засосало под ложечкой. Оставалось, уняв дрожь колен, допилить. Ствол заскрипел, как зубами, и ринулся на меня с умирающим победным воплем. Я беспомощно приседал со слезами ребенка на глазах, когда истерика, глубоко сидевшая, выплеснулась наружу, швырнула тело в сторону. Встал я душевно опустошенным, чувствуя всю тяжесть платы за страх, но и со знанием: нужно ждать последнего трепета ствола, при любом ветре он может упасть только раз и только на одно место, нужно уметь выждать последнее направление и за оставшиеся две секунды отбежать. Пошел к собравшимся возле пустующей походной кухни-барака ребятам. К вальщикам медленно возвращался загар, взволнованные товарищи смотрели на них с участием. Свежнев, взглянув на меня с любовью, сказал:

— Какая гадина! Паскуда.

Павел Жиганов, пощупав плечо, слегка разорванное веткой, подтвердил мрачно:

— Точно. Паскуда. Бесится со скуки. Он после училища мечтал остаться в городе — его в Покровку послали, мечтал в Европе поганой остаться — на Дальний Восток заслали. Пил, с б... лизался, стоя на

макушке, с отчаяния мазохиствовал, микросадизмом занимался. А здесь совсем пухнет, по-человечески говорить разучился. Не человек он, а пули я бы на него не пожалел. А пока, ребятки, делать нечего, надо пахать, я обратно в часть не ходок, девицу себе уже заметил.

Все с грустным одобрением кивали головами. Танец человека со стволами продолжался, молитвы Всевышнему и всем чертям о ниспослании безветрия проходили втуне. Во время перекуров молчали, как силу держали в себе ярость. Вечером прикатил Осокин, ходил, примеривался, подсчитывал кубометры. По-волчьи смотрели на него двадцать пар глаз, дымились убийством ставшие тяжелыми от работы руки.

Вместе с ночью глаза мои мутнели пьянством. Спирт в уютном кабаке-избе продавался по государственной цене, но можно было при желании заливать себя самогонкой, бражкой, было и крепленое вино; его никто не пил.

- Спирт вгонял в меня грусть и мечту об одиночестве без одиночества. Булькало в глотке девяносто градусов, возле бессмысленно, как в вечность, икал ручей. Я что-то вспоминал:

Они придут, жрецы любви,
Похожие на случай...

За спиной постучали об землю и остановились шаги. Замерли. Мужик бы заговорил.

— Садись. Ноги мудрости не учат.

Села рядом. Оборачиваясь, уже знал, что это существо принесет мне радость. Закурил, чтобы увидеть ее лицо. Это была сучкоруб Таня; не замечая, всё же запомнил в тайге ее коренастую фигуру, большие руки, умные глаза и молодое лицо.

— Выпить хочешь?

Мягко и грудно приплыл ее ответ:

— Нет. Ты еще почитай.

— Ладно.

Устал я жить в родном краю
в тоске по гречневым просторам...

Делал паузы, затягивался и видел сквозь огонь сгоравшего табака ее крупный нос и глаза, пьющие тоску строк без остатка.

— Нравится?

— На такое не ответишь.

— Я тебе почитать дам.

— Я не умею читать.

— Ладно, я тебе повеселее прочту:

Это было у моря, где ажурная пена...

Я взглянул на темень, пачкающую Танино лицо:

— Как?

— Тут тоски еще больше, но только у людей такой тоски не бывает, у леса бывает, у болота. У болота часто бывает.

Я только выдохнул про себя:

— А-а-а!?

— Что?

— Нет, я ничего. Кстати, меня зовут Святославом. Так ты выпить не хочешь?

— Не сейчас. Я знаю, вы сегодня на лесоповале были. Трудно было. А имя-то твое я знаю: на складе старуха Прохоровна на тебя указала, сказала, что больно молчалив ты, а злобы в движениях да в глазах у тебя много.

Хлебнув, в ответ рассмеялся.

— Ошиблась твоя Прохоровна. А ты хорошая. Присела и мир другим стал.

Чувство благодарности, забытое, стало бухнуть, затопляя мечту и грустную злобу. Взял Танину руку и, поцеловав ладонь, прижался к ней щекой. Таня сильно вздрогнула, застыла. Потом, обмякая, сладко

и радостно заплакала. Ее никто не целовал; руки, много лет державшие топор, не могли представить себе прикосновения губ; да что руки, и губы Танины, полные и твердые, никогда не таяли в поцелуе. Не принято было. Чужие иногда заносили новые слова и ласку. Но новое держалось не долго. Тут были староверы, были когда-то, но не очень давно, идолопоклонники. Может от них вошло в бабу и мужика понимание материнства и отцовства без лукавых утех, без баловства. Выдали ее замуж четыре года назад. Не узнала Таня в ту ночь ласки. Не знала она ее, но возмутилось ее тело, когда, терзая его, навалился муж, не погладив разочка, не проронив словечка. И после брал он ее, как хватает всякую пищу голодный. Не роптала она, не могла роптать, только понаслышке, как о диковинном и заморском, знала о поцелуе и о более тягучей, чем добрый мед, ласке. Ушел муж два года назад куда-то в люди и не вернулся — наверное, устроился на ударную стройку и сумел там прописаться. В избе остались она, маманя да Зина, дочка-карапуз. Пока была маманя, как-то к дочери не тянулись губы и руки. Отошла маманя, но и после того ласки к дочери были скупыми, неуклюжими, как от незнания. Теперь она знала. Губы хмельного, удивительного парня, умеющего говорить красивые песни, не по-хмельному прижались с сильной нежностью к ее руке. Пришло к Тане счастье.

Она встала и по-старинному, доставая правой рукой земли, била челом. В меня, в Мальцева, остро вклинилось смущение, бутылка спирта и пьяная благодарность мешали, несуразно стояли между нами в этой благодатной темноте. Быстро встал.

— Что ты. Ладно... что ты.

Отбрасывая напором нежности все мешающее, забыл благодарность, поставил осторожно бутылку на землю, взял Таню за плечи и стал целовать щеки и глаза. Я искоса видел ее закрытые глаза, зажмурен-

ные до белой силы так, словно старались не пропустить ничего в темный мир из внутреннего своего зрения. Руки обхватили и прижали меня, старались превратить мгновения в вечность. Наконец, пошатываясь, отошла и опустилась на землю, бормоча ей что-то. От неловкости и призрачности искреннего во мне подобрал бутылку, глотнул, закусывая горбушкой хлеба с мануфактурой вперемешку.

— Пойдем, Святослав, у меня в избе кусок медвежатины копченой есть, лучшая закуска.

Шли под тугими звездами, по мягкой земле. Му-сульманский месяц, прилепившись к бездонной впадине неба, умиротворенно освещал мою пьяную голову и покосившийся крест на старой деревянной церквушке, служившей давным-давно складом. Всё было в мире, и всё было мир.

Отполированная временем изба отбрасывала белизну своего дерева от зеленого абажура обратно на стены. Пока Таня накрывала на стол, прошел в сени. На месте, где зимой корова ждет весну в скучающем мычании, стояла кроватка, на ней посапывал, почмокивая, как люди, не знающие, что такое совесть, кусочек жизни. Девочка спала, свернувшись калачиком, видела свою крошечную фантазию в крутящемся за ее сомкнутыми веками сновидении. Не отблески страстей, непознанных желаний и страхов, не отражения действительности, слишком простые для опытного и самообманного зрячего глаза взрослого человека и потому приходящие к нему по ночам, а крошечная фантазия...

Щенок, маленький и вздутый, лежащий подле хозяйки, увидев меня, грозно пискнул, но разглядев выражение моего лица, заурчал и вновь устремился к своим щенячьим снам.

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел...

Пока читал, чувствовал спиной Таню. Она выпила один стакан, по-старушечьи, не морщась, сурово закусилась, стала, подперев рукой щеку, смотреть на мое лицо, как на тяжелую радость. Спирт, уже сковавший ноги, медленно полз к голове, всё туманя — прошлое и выдуманное настоящее. Теплой ладошкой опустились на глаза веки, под ними заиграли разноцветные крапинки, складывающиеся в видимое уму счастье. Оно всё вырисовывалось. Тело напряглось в ожидании: пойму, сейчас! И прошла, похабно скользнув, бледная спираль, стерла всё. Спираль? Что это? Ответа не было. Я ощутил себя бедным, проигравшим важное. Таня спросила:

— Ты обо мне думаешь?

— Нет, о себе.

Её рука коснулась моей:

— Хороший мой. Я и не думала, что такие бывают. Постелю... тебе.

Я испугался, то ли чистоты, то ли грязи...

— Нет, нет, я тут, на лавке. Ты не беспокойся, я на лавке. Пьяный я.

Лег, и тотчас колеблющаяся хмельная темень потащила куда-то вниз к мертвому сну.

Утро разбухало за окном, когда Таня, осторожно прикасаясь ко мне, будила. Разбудив, с нескрываемой тревогой всматривалась. Молча ждала. Встал, подошел к ведру, зачерпнул ковшом воду, потрогал пальцем свое отражение. Легкость жила в теле, безоблачье кружило голову. Я громко рассмеялся:

— Дуреха!

Подхватил ее на руки, поцеловал в нос. Она тихо улыбалась. Тихонько плакала, испытывая то, о чем не могла мечтать. Жесткая кровать нас приняла мягко; каждое движение, каждая ласка острой нежностью кочевали по нашим телам.

Пришел день, отогнавший ветер. Шли к автобус-

ной остановке, глядели друг на друга широкими глазами. Таня сказала:

— Следи непрерывно за ветром, он может ожить, старики говорят ведь — незваное зло всегда подбирается с затылка. И за падающим стволом следи, чтоб козырек вырубали и выбивали правильно — от всего зависит жизнь. Убирай в первую очередь сухой, свежее дерево на него упадет. Смотри, я буду бояться за тебя.

Рои дней сыпались из времени. Только в особо ветреные дни Осокин не требовал работы. Такие дни мы проводили с Таней — к этому и прибавить нечего.

Через дней десять у Свежнева от топора разбухли руки. Приходилось вставлять в его онемевшие пальцы топор и крепко прибинтовывать. Так он бродил по тайге с забинтованными руками и торчащим между ними топором, морща лицо в болезненной ухмылке. Потом пришли жесткость рук, умение не опускать сильно топор, а бросать его на ветку, пришло знание точного короткого удара обухом так, чтобы козырек отлетал на пять шагов.

Как-то на делянке появился старичок-охотник. Облезлый его пес, скользивший рядом, доставал спиной пояса хозяина. У обоих были добродушные физиономии. Пока пес дремал, старичок болтал:

— Ребятки, ребятки, гляжу на вас и жалость пробирает. Мы в ваши годы о работушке и не помышляли, ухарством промышляли, гуляли, всякое время года праздниками встречали. Только к тридцати годочкам бабу брали и на хозяйство становились, да и то батя избу справлял, остальное народ к свадьбе подносил: кто кровать, кто силки. Жили весело, потому в урочное время и свет покидали Божий без стыда, и злобы не оставляли на земле. Тогда тайга тайгой была, рубль — рублем. А зверя сколько было, про-

мышляй — не хочу. Теперь на всю-то тайгу сорок три тигру осталось, да и то — человека увидют, так в беспмятство падают. А полян сколько понаделали, лес губят, будто он как грибы растет. От вони тракторов-то все живое поразбежалось. Да у вас, ребятки, морды поопухали. Знать, не своими стали у комарином царстве. Обучу я вас: отыщите муравейник, помахайте низко-низко над жителями белым платочком. Муравей-то увидит тряпку и непременно насыт на нее. Как станет тряпочка чуть мокренькой, так и морду протрите ею, ни единый комарище не только не укусит, но и не сядет. Вот так. Да, тигру бояться теперь нечего, а ведь лакомка был, наперво любил он собаку, самый что ни есть лакомый кус для него был, потом люди шли, но желтые, китайцы всякие, а русских не любил, брезговал. Такой тигра был. Прощайте, ребятки, ни пуха вам. Эй, Крутой, раздрыхся небось, вставай, до пенсии еще далеко.

Как только старик исчез, все муравейники, прилегающие к делянке, были подвергнуты террору. С этого дня злорадно и торжествующе подставлялись лица жадно шумевшим комарихам.

Осень была на ущербе, воздух по утрам ложился на руки. В один из блаженных дней, наполненных ветром, мы с Таней углубились в тайгу. Шумела жизнь на высоченных ветвях далеко над головой, внизу же степенно умирала природа, но в знак своего вечного обновления накрывала себя смертным покрывалом веселого желтого цвета. Мы лежали на нем, прижавшись друг к другу, ловили мгновения убыстренного вращения земли, старались удержать в долгих поцелуях появляющиеся в нас из бесконечного мощные толчки того, что называют счастьем. Слова произносились как бы на странном диалекте.

Потом шли, смакуя шаги, пока не дошли до дальнего склада. Там лежали первоклассные сорта древесины, идущие в Японию. Неподалеку чернела

охотничья избушка, дымок из рядом стоящей бани тащился в синь неба. В предбаннике сидело двое мужиков, приветствовавших нас гостеприимными словами. Легкий запах кваса проникал из парной. Мы быстро разделись, подхватили душистые веники, подброшенные в воздух одним из мужиков, и юркнули в парную. Квасный пар мгновенно окутал нас блаженством, лишил пола. Три полки, шедшие уступами, манили сосновой белизной, посреди парной лежал зеленый круглый каменище, раскаливаемый из подполья костром. Бадья с квасом стояла возле двери. Таня зачерпнула и выбросила квас из ковша на камень. Поднялось густое облако, мы вошли в него, и на нас свалилась истома. Выходила из пор усталость, грязь, запах грязи. Мы хлестали друг друга. Чувствуя закипающую кожу на теле, лили на себя ледяную воду из большой бочки. У окна, выходящего на ручей, ахали и смеялись от радости.

Одеваясь в предбаннике, почувствовали нежность желанья и его полноту, исчезнувшие в парной в грубой дружбе. Остывшие тела вновь оживали, и мысли запульсировали в такт крови. На опушке нас окликнули знакомые мужики:

— С добрым паром вас, товарищи!

— Спасибо-о-о-о!

Вновь мы вычеркивали мир и уходили друг в друга, вновь нечто крутило быстрее землю и слепило широко открытые глаза. Густая трава была под нами, она дышала, ласкала, и мы кусали ее в восторге.

Потом я читал Тане стихи и стыдился ее глаз, они были огромными, они отделялись от тела, жили, умирали и вновь оживали со строфами. Спокойные слезы стояли у впадин Таниных глаз. Немыслимая ее чистота смущала, злила, счастливила меня, но чаще всего мощный покой селился во мне, когда Таня была рядом, и даже когда знал, что она будет рядом.

Выпала с неба первая тающая слякоть. Было утро. Белесые клубы снежного тумана еще висели в мокром воздухе. Зеленъ сосен еще мутнела в заспанных глазах, когда осколок сухостоя вонзился Пашке Жиганову в пах. Он долго тягуче кричал. Трактор потащился в леспромхоз за помощью. Я стоял и словно видел розовость криков Жиганова. Он не послушался предупреждения судьбы: та царапина на плече в первый ветреный день прошла как минувшая, а не приближающаяся опасность. Судьба любит слепых. Пашка Жиганов затих и недоуменно посмотрел на склоненное над ним лицо.

— Вот что с тобой сделали, — сказал я.

— Кто?

Лейтенант Осокин появился перед моим воображением, бледный с разрубленной головой. Я ответил, что мог:

— Не знаю.

— Может, никто, а?

— Наверно, — тупо ответил я.

Толстый обрубок мертвого дерева летел не сильно или был на излете, потому и вошел не глубоко. После госпиталя пойдет в часть. Повезло.

Белел снег, душащий осеннюю грязь, появился мороз. Трудно было спастись от беснующегося ствола в глубоком снегу. Часто в уютные вечера в Танину избу наведывался Свежнев. Бобылка, окрутившая его, нужна была Коле только по ночам, днем был привычный уже страх на лесоповале, а по вечерам спокойно лился спирт и текла беседа. Вероятно, и для Коли появилась Таня, ранее бывшая для него предметом обихода. Если я и ревновал Таню к нему, то рассеянно. В ветреные воскресенья мы смотрели на старушек, шедших в молитвенный дом. Проходя мимо церкви-склада, они поднимали полинявшие глаза к кресту и вспоминали сложенными пальцами добро-

вольное мучение Спасителя. Таня тоже крестилась. После говорила-отвечала:

— Нет, не то что верую, а... перекрестишься и чувствуешь какое-то спасение, муку чистую в себе.

Вечерами в клубе скрипели пластинки, кружились женщины парами, пахло огуречным кремом. Старухи на скамейках, закутанные в фуфайки и платки, лузгали семечки и швыряли друг в друга тучи слов. Напротив клуба в кабаке-избе веселились на свой лад мужики: пили, спорили о кубометрах, о делянках с молодняком, — мол, щадить молодняк нужно, вырубать сперва сухостой, но кто план с такой правдой выполнит. Степан, теперь Степан Алексеевич, пока в начальники не вылез, сам молодняк вырезывал, а ноне штрафы накладывает, в расписных валенках ходит, а летом умудряется ни чуточки не загореть. Эх, человек куда быстрее сосны в сухостой превращается. Давай, наливай!

Спорили часто, но до драк не доходило, верили сосновчане в тяжесть слова.

Осокин с лицом аспидного цвета часто томил тоскливыми локтями столы водочной избы. С ним не разговаривали, обходили, как на лесоповале обходят пень. Бабы его не жаловали, беря пример с мужиков. Вероятно, Осокин у себя в комнате в управлении леспрохоза часто дергал губами от пьяной злобы, обвиняя нас в своем одиночестве. Он сидел на лавке перед клубом, когда я к нему подошел:

— Разрешите присесть, товарищ лейтенант?

— Нет.

— Ну, ничего, я всё равно присяду.

Осокин не двинулся, не взглянул, он казался безжизненным, как пустые валенки. Из меня сочилось злорадное превосходство:

— Слушай, салага, тут никого нет, магнитофона подмышкой, надеюсь, у тебя тоже нет. Мне плевать на твое состояние, да и вообще, если ты вместо того,

чтобы в Покровке валяться с офицерскими б..., сидишь тут, как сыч, так мы должны отдуваться и работать, когда у тебя плохое настроение? Ты ведь знаешь, что коллективные жалобы военнослужащим запрещены, но если каждый из нас под моим мудрым руководством напишет в самые различные инстанции, вплоть до «Суворовского натиска» и «Красной Звезды», то ты всё-таки попляшешь, звездочки следующей долго будешь ждать, а если покопаться в твоём рапорте насчет Жиганова да привлечь жителей как свидетелей, то за ложные показания и рапорт тебе совсем не поздоровится, ты же ведь знаешь, наверху любят находить виноватых из салаг. Вот и подумай. Привет тебе, товарищ лейтенант!

Вероятно, Осокин даже не поглядел мне вслед. Но через несколько дней был ветер, и он снова погнал нас на лесоповал.

На делянке после игры в жмурки со стволами было отрадно видеть, как их, голых и мертвых, волокли и бросали в небрежные кучи. И было счастьем вечером и ночью после пережитого днем растворяться в Тане, уходить без остатка в ее полное ласки и доверия тело, смотреть на нее и верить ей, чему-то.

Уютно падал снег, таял на бушлате. Шли из горла веселые слова, искры радости торчали в глазах. Ребята почти все обзавелись девками, бабами: одного заставили потерять девственность, другой сам поддался на ласку женщины. Лица ребят каменели в спокойствии, и только Осокин, появляющийся утром, приносящий в избу ветер, страх, злобу, возвращал их к действительности, втискивал в отмахивающуюся память устав, подчинение, власть погон. Глаза ребят лучились убийством, когда Осокин, по-гадючьи вертя головой с похмелья, издевательски шипел:

— Вас что, на курорт послали? Шевелитесь! Кто через десять минут будет в тепле, через день увидит часть, а с ней и губу... Живо!

Планы мщения лейтенанту кружились в беседах: кто собирался перерезать его пилой, кто хотел уронить Осокину ствол на макушку, кто предпочитал топор. Слова и угрозы помогали работать и превращать существование в жизнь. По крайней мере, так казалось. Свежнева же больше всего бесило, что дерево идет в Японию в то время, как в универмагах продается втридорога ГДР-овская и чехословацкая мебель, да и то чаще всего по благу или по системе очередей; ругал плановое хозяйство и угробленный социализм вообще.

11

Приближался новый, 1968, год. Ручей наполнился льдом до дна, и мальчишки выписывали на нем восьмерки коньками, прикрученными веревками к валенкам. Стало тихо, лишь изредка скрипел под невидимым напором мороза телеграфный столб. Из труб поднимались к небесной тверди дымы, не достигали, растворялись. Зима была наполнена веселой грустью, белой задумчивостью. Многие ненужное казалось нужным.

Осокин, испоганивший утро, как дохлая мышь буханку хлеба, сказал:

— Ходят слухи, что кто-то повадился ходить на дальний склад леспромхоза, где хранятся сорта древесины, предназначенные на экспорт. Вот что, сержант Мальцев пусть сходит и подежурит там дней пять. За поимку вора будет объявлена благодарность, быть может, — отпуск. Вы сержант, на вас и ответственности больше. Возьмите сухого пайка на пять дней, муки. Выполняйте!

Хотя выбор Осокина мне показался странным, но возразить было нечего, приказ есть приказ. Я пошел, избушка сторожа была теплой, в вещмешке валялся

том «Тихого Дона» и три бутылки питьевого спирта. Близко, в десяти километрах, было подобие трактира для охотников. Я сходил туда на третий день. Мне бросились в глаза табуретки и два явно новых стола из ровного кедра красивого рисунка. Хозяйка, по-видимому жена лесника, была полной, крепкой, неопределенного возраста.

— Ты как попал сюда, солдат?

— Да вот, понимаешь, послали склад сторожить, воров искать. Я, правда, их уже нашел (я показал на столы и рассмеялся), но от этого легче не стало, жрать хочу, а у меня в кармане вошь на аркане, да ты еще перед глазами вертишься, рукам больно делаешь. Что скажешь?

Хозяйка расхохоталась:

— Да что там, мы тут с деревом перед глазами рождаемся, с ним живем, вот только как усех нас в нем в землю-матушку зарывают. Какие же мы воры, язык как у тебя повернулся такое сказать. Ладно, накормлю тебя.

Кормила медвежатиной в рассоле, зайчатиной, подавала щи, бражки у нее нашелся жбан. Потом себя дала, то ли жадно, то ли по привычке. Баба попалась хорошая, добрая. Прощаясь, сказала:

— Ступай с Богом, солдат, хорошо было с тобой. А насчет кедра-то, то, как есть, какой охотничек, какому отворот-поворот дала, донес. Узнаешь кто, скажи ради Бога, не будет он, изверг, жить на этом белом свете. Иди, не поминай лихом Веру-лесничиху. Вот, уже доносы по лесу пошли. Россия-то только в лесу и осталась, да вот и ее поганят. Ступай, на, медвежатины на дорогу возьми.

Прошло пять дней. Шел назад, чувствуя свое легкое тело, напевая:

Я живу на границе,
Где полярная мгла.
Ветер в окна стучится,
Путь метель замела...

На пустой скамейке возле клуба сидел Осокин, более пьяный и подвижный, чем обычно. Он окликнул меня:

— Топай сюда, Мальцев. Чего хитителя социалистического имущества не тащишь за собой? Да, что это я хотел тебе сказать? Ну да, девка твоя... ничего-о-о. Только квелая, когда расстелешь... Слышь?

— Слышу. Пожалуй, квелая. А воров нет там, кто-то перепутал.

Осокин вглядывался, щупал радостными глазами мое лицо.

— Нет так нет. Иди, отдыхай. Увидишь ее, передай от Осокина привет.

— Передам.

Шел по деревне, чувствовал в груди, в черепе звенящую пустоту. Только поднялась невесть откуда взявшаяся мысль, показавшаяся старой и давно готовой ожить: знает ли кто? Рассказал ли он кому? Будут ли свидетели? Свернул к нашей избе. Постоял над ручьем, поглядел с любопытством на кинутое льдом в спячку дно, на его камушки, ждущие весны с равнодушной добротой. Что-то шевельнулось — то ли зависть, то ли презрение.

Вошел. Никто ничего не знал. Все готовились к празднику, вытаскивали и чистили сапоги, подшивали к гимнастеркам чистые подворотнички, стригли ногти. Четыре дня оставалось до Нового года, года, может быть, дембельского, — если Гречко не позабудет нас в новом законе о двухлетней службе, если не будет войны с китайцами. Ребята ходили оживленные по избе, уже мысленно вычеркнув год службы. Парень из-под Москвы, Столбняков, собирался жениться в феврале и после демобилизации вернуться в Сосновку. Девка хорошая, люди неплохие, деньги идут недурные да и паспорта у сосновчан есть, и жизнь тут вообще богаче. Чего он в колхозе не видал, света еще не провели, тут хоть механик хороший, движок, как часы,

работает, свет до полуночи не тухнет. Что там в деревне рукой подать до Москвы? Так от этого он богаче не станет. А ежели паспорта нет, так и прописки московской ему все равно не видать, как своих ушей. Чего же...

Не лез в глотку спирт, так и пошел к Тане трезвым. Зина, подбежав ко мне у ворот, уже привычно крикнула, прыгнув мне на грудь:

— Мама, дядя Святослав пришел!

И ждала, пока не дам денег на конфеты. Зажав в кулачке монетки, побежала. Я смотрел на спокойное милое лицо Тани вероятно так, как глядел на меня Осокин. Она поняла и заговорила, подперев руками грудь:

— Пойми меня, жалко мне его стало, человек же был доведенный до отчаяния: он плакал, прямо дурным голосом кричал. Тебе твои слова помогают быть сильным, ты не можешь понять. Ему очень плохо было, извелся ведь совсем человек, оттого и злой был, что несчастен. Жалко мне его стало, сама не знаю, как... Святослав! Жалко ведь было...

Я молчал, потупив голову. Таня не понимала лжи, грязи. Она инстинктивно отталкивалась от них, она не могла ошибаться. Значит, Осокин был искренен! Эта мысль наполнила меня яростью, полной отчаяния. Осокин, как и я, что-то искал в Тане, может быть, нашел. Его руки были не чище моих, рассудок не более грязным. Я посмотрел на Таню, на глаза ее, устремленные на меня, полные жалости, и понял, что проблема выбора уже ушла, осталось знание будущего, моего и Осокина. Спокойствие неотвратимо стерло отчаяние и ярость. Надо было играть. Отстранив желание обнять Таню, тыльной стороной ладони ударил ее по лицу. Затем, постояв несколько мгновений, поднял Таню с пола, вытер кровь с ее лица, стал целовать ее. Подождав, пока Танины руки опустились на мои плечи, как бы опомнившись, оттолкнул их от себя.

— Не Осокина виню. Сама знаешь: сука не захочет — кобель не вскочит.

Нежность и жалость не покидали ее лица:

— Есть будешь?

В ту ночь лег на лавку, долго не засыпал. Всплывали из принятого решения, из невозможности его изменить образы Раскольников, старухи, весь ход русских душевных мук его... широта мук в узости раскаяния... Что есть раскаяние, если не вера? Сумели ее выжечь в нас — в таких, как Свежнев, больше, чем в других — теперь широкими стали, прём в никуда. Он, желающий изменить революцию, — ее прямой наследник, наделенный ее желаниями, методами, желающий изменить неизменяемое — сущность человека. Они сорвали с сущности ее броню — веру, с ней и раскаяние, оголив страх. А со страхом и схитрить можно... Не думать о будущем спасении, не вспоминать о прошедшем проклятии — и выкарабкаться...

В ту ночь мне не снился Осокин с разрубленной головой.

Новый год праздновали и собаки веселым сытым лаем. Люди, потоптавшись в клубе под скрежет пластинок, расходились по домам, самодеятельность и митинг прошли перед глазами, как размытая дождем афиша. Много мужиков повалило в водочную избу. Движок по праздникам работал всю ночь, завтра был выходной. К двум часам ночи кто спал на столах и на полу, кто сумел заставить ноги потащиться домой. Пошел щедрыми хлопьями новогодний снег, мороз упал до тридцати. Нужный снег, нужный мороз. Я пил — пьянело только тело — и ждал. Осокин давно похрапывал, навалившись грудью на стол, широко разбросав в стороны руки, мягко шевелил во сне губами. Я опустился на пол. Закрыв глаза, щипал свое тело, болью отгонял сон. Последнийдвигающийся ушел, хозяйка накрыла буфет деревянной крышкой,

подвесила замок, пошла спать. С трудом став на ноги, я отпил из недопитой жестяной кружки теплой водки, сплюнул. Стал переходить от спящего к спящему, толкал ногой. Кинутые в пьяную темень, никто из них не видел снов. Подошел к Осокину:

— Эй, лейтенант!

Смотря на оглушенного водкой Осокина, едва удержался, чтобы не разбить сапогом ему лицо. Пересилил себя, усмехнулся и потащил его за шиворот к двери. Выглянул. Молчало всё, только тишина терлась о себя, шуршала. Взвалив на плечо Осокина, вышел на негнущихся ногах. Отвесно льющийся с ночи снег выравнивал продавливаемые моими шагами следы. Вблизи околицы опустил Осокина на снег. Пушистый, высокий, он принял лейтенанта Осокина в себя без остатка. Поглядев на мерно затягивающую дыру белую пелену, сказал:

— Прощай, лейтенант. Можешь поминать меня лихом.

Вернувшись в водочную избу, лег на пол, жалея, что нельзя пойти к Тане. Мне хотелось ее.

Утром опохмелялись. Оживало тело, уходила боль из головы. Вспомнив ночь, вспомнил Раскольников и добродушно посмеялся над ним. Над Осокиным смеяться не мог, о мертвых плохо не говорят.

Таня встретила меня теплыми своими руками, телом, нежностью.

Осокина нашли через два дня. Его жалели. Из части пришел приказ хоронить его в Сосновке. Мы долго долбали мерзлую землю на кладбище. Залпа дать было нечем. К его родителям пошло письмо командира части, извещающее, что их сын погиб при исполнении служебных обязанностей.

Через пять дней из части прибыли отделение и лейтенант... не помню его фамилии, кажется, из второй роты. Побывав в управлении леспромхоза, новый лейтенант вышел с радостной физиономией. Подошел ко мне:

— Ты что, сержант, не был в курсе дела? Осокин куда смотрел? Ведь работы осталось на раз плюнуть. Дубина он был, ваш Осокин. А переночевать моему отделению, пока вы не отбыли, есть где?

— Нет, товарищ лейтенант, негде. Только ребята тут бабами обзавелись, так что пусть последнюю ночь у них переночуют, — так и свободные нары для всех найдутся. А что Осокин? Чего о мертвых плохо говорить. Пил он много.

Лейтенант заулыбался:

— Я думаю, иначе бы не окочурился. Вижу, раскисли вы тут на гражданке. Ладно, пусть переночуют, а утром в путь. Главным назначаю тебя, сержант. А мы через дней десять прибудем, нужно хоть за потраченный бензин отработать да и не зря же перли.

Узнав о благом разрешении лейтенанта, лица ребят потеряли выражение солдатской готовности, мгновенно вытесненное мужской самоуверенностью. Один гоготнул:

— А Осокин бы не разрешил.

Пока я собирал вещмешок, подошел Свежнев:

— Гляди, Святослав, на народ, как он любит находить хорошее начальство. Если бы Осокин нас так не гонял, разве лейтенант вышел бы из управления в радужном настроении? Вся беда в том, что народ никогда не знает, что такое причина и следствие.

Я только улыбнулся, думая о Тане:

— И ты хочешь его ткнуть прямо мордой в добро и справедливость?

— Нет, я только хочу, чтобы длительный исторический процесс, приведший, несмотря ни на что, к нашей конституции, оправдал себя, заставив всё и вся подчиниться букве этой конституции, разумеется, по ходу дела видоизменив ее. Как видишь, хочу немногого, только оживить труп.

— Который еще не родился! — И добавил, замахав на расходившегося Кольку руками: — Хватит, умоляю тебя, не хочу тебе сегодня доказывать, что именно во времена отмены смертной казни в России было перебито больше всего народа, и не хочу тебе доказывать, почему это естественно. Не хочу потому, что мне на это наплевать. Я верю в твои благие намерения, в твое бескорыстие. История, кстати, уже доказала, что нет ничего глупее в природе гениальных бессребреников. И я хочу к Тане, а не черпать с тобой воду решетом. А ты иди к своей вдове.

Идя к Тане, всё же не мог оторваться от мыслей о злобности ударов людей в живот таинственной эволюции.

Таня была печальна. Мы долго сидели за столом, пока близко к полночи, прощально замигав, лампочка над головой исчезла в сгустившейся темноте. На дворе было тихо, деревья спокойно томились в безветрии. Из сеней приходило похожее на шелест дыхание коровы. Мы легли, не касаясь друг друга. Потом голос Тани, разрезав силу ночи, стал падать на меня.

— Вернешься? (Так обычно люди произносят слово «прощай».) Хорошо было с тобой. По-другому, стало быть, жить будет нужно.

Падала на меня ее горечь, ее будущее одиночество. Но не нежность и жалость пришли, выступили легкое злорадство и удовлетворение, какое невольно испытывает горбун, оглядываясь на проходящую горбунью. Посоветовал жестко:

— А ты зажмурься — так и живи.

— Не сердись. Мне тоже плохо.

И стало хорошо в ту последнюю ночь.

Когда проезжали по пустому селу, я видел в пробегающих мимо избах настоящее, холодно уходящее в прошлое. Отказавшись от места в кабине рядом с шофером, сидел со всеми в кузове. Мне не хотелось знать, что будет дальше с Таней, родит ли или откажется от моего ребенка, будет ли еще долго любить меня... Не нужно было. А с могилы Осокина через год упадет деревянный столбик с деревянной звездой, а еще через несколько лет в ней похоронят другого бывшего человека. Всё без суеты.

Лишь навязчиво возвращалось воспоминание о крапинках под веками, складывающихся цветовыми пятнами в постижимое для ума счастье. Ухабы вытрясли воспоминание, мороз отогнал его. Забытая анаша в кармане стала жечь желание. Поперхнулся с непривычки, долго трескуче кашлял. Трясло, всё более и более привычно выматывая твердеющую душу.

13

Я поднял голову. Прошедшее длилось, вероятно, долго, несколько часов. Вокруг все, — салаги, фазаны и старики, — поддавшись нахлынувшей усталости, мертво сидели на скамьях с трясущимися на поворотах головами. Кое-где отмороженные, одубевшие лица с полузакрытыми пустыми глазами проявили легкие признаки радости, лишь когда на фоне одного из горизонтов выскочила из-под земли Покровка.

Часть, плакаты с выдержками из устава, освобожденные от зимы, аккуратно усыпанные гравием дорожки, колючая проволока вокруг постов заставили руки поправить складки на шинели, глаза — взглянуть на сапоги. Поставили орудия, тягачи, засунули в шкафы в оружейной комнате автоматы и остановились

в растерянности. Мудрый полковник разрешил всем спать до ужина.

С утра потянулась старая служба. Для стариков медленный подъем, равнодушный взгляд на вскакивающих салаг, увиливание от зарядки, вытаскивание прячущихся в галюнах от двухкилометровой пробежки салаг, ожидание завтрака, оружейный парк, чистка орудий, классы. Через день караулы.

В воскресенье после завтрака командир батареи объявил о комсомольском собрании, добавив:

— Не комсомольцы могут не присутствовать и пойдут на работы.

Все поплелись в ленинскую комнату: лучше было в выходной день дремать под каскады слишком привычных для внимания слов и думать с удовлетворением, что за окном зябко и ветрено. К тому же, многие получали хоть и малое, но всё же удовольствие от возможности на собраниях называть лейтенантов и капитанов публично комсомолец такой-то, как бы на время ставя командира рядом с собой — вниз.

Несмотря на устав, часть на часть не похожа, — в казарме больше цветов, дорожки красивее, спортзал богаче, — но ленинские комнаты подобны усердному канцелярскому штампу — они одинаковы везде. Если солдата из ленинской комнаты на западной границе перенести за двенадцать тысяч километров в ленинскую комнату на восточной границе — он не заметит.

Истертые локтями красные столы, стол президиума, за ним комсорг Чичко (бедняга лейтенант не смог, видно, отвертеться от политнагрузки), и почему-то сам парторг полка Рубинчик. Все сели. Я оглянулся и увидел, что у самой стены позади всех под портретом кудрявого мальчика, который вырос в Ленина, сидел Молчи-Молчи. Его лицо с носом-картошкой было столь же добрым, как и лицо кудрявого мальчика. Плюнув в сердцах на возникшее желание пойти рабо-

тать, опустил голову и попробовал задремать. Чей-то взгляд, упершись мне в макушку, мешал. Это был Рубинчик. Он улыбался мне довольной улыбкой. Чичко встал и, пытаясь не командовать над сгруппировавшейся перед ним солдатской массой, отчеканил:

— Товарищи комсомольцы, сегодня мы будем принимать в славные члены ВЛКСМ... значит... некоторых еще беспартийных. Крылатов Сергей Сергеевич!

Парень из хозотделения забуровел лицом, встал и пошел к президиуму.

— Ну, Крылатов, расскажи для порядка свою биографию.

— Биографию? Ну, родился в 47, отец и мамаша колхозники, взяли скотину пасти, по хозяйству подсоблять брали, ну, дали семь классов закончить, ну, в колхоз забрали, ну, в армию забрали.

— Всё, Крылатов?

— А чего же еще?

— Ты вопросом на вопрос не отвечай, не у тещи. Скажи собранию, Крылатов, какие у комсомола ордена есть.

— Какие..? Он Герой Советского Союза...

Рубинчик встал, оглядел млеющие в тепле лица, сказал:

— Знать надо, Крылатов, историю организации, в которую вступаешь. Историю Ленинского комсомола нужно знать. Дай обещание перед всеми, что в недельный срок выучишь историю ВЛКСМ и его устав.

Парень радостно закивал головой, зная, что через неделю никто и не вспомнит.

— Кто ЗА, товарищи, прошу поднять руку.

И прежде, чем успели понять, что от них требуют, добавил:

— Единогласно. Комсомолец Крылатов, можете вернуться на свое место.

Туман легкого сна вновь коснулся моей головы, но был тут же рассеян голосом Чичко, вызывающего к президиуму Свежнева Николая Федоровича. При- сутствие Рубинчика, Молчи-Молчи, довольная улыбка парторга стали понятны. И благодушное поведение Рубинчика во время нашего последнего краткого раз- говора перед учениями, когда я издевательски предла- гал ему перевоспитать Колю, заставив его вступить в комсомол, встало передо мной оборотнем, принявшим свой истинный облик. Рубинчик не торопясь собирал капли свежневской иронии, возмущения, протестов и складывал их в политическую чашу терпения особого отдела части: когда капли достигнут ее края, Молчи- Молчи не станет ждать, пока они намочат скатерть, он выберет какое-нибудь средство из своего арсенала, и тогда...

Свежнев не мог или не хотел этого видеть и по- нимать, он прикрывался верой в будущее и искренне ждал перехода от слов самой демократической кон- ституции к жизни, как выразился когда-то товарищ Сталин. Вера. Всякая вера, оправдывающая зло, ли- шает верующего противоядия.

Я думал об этом, глядя на полное твердости и внутренней правоты бледное лицо Свежнева, стоящего лицом к собранию, спиной к Рубинчику и остальным и, вероятно, даже не замечающего Молчи-Молчи. Я знал, что произойдет: после собрания Коля сам влезет на одну из последних ступеней, ведущих к концу. В те секунды, когда Свежнев наполнялся жаждой ост- ататься перед собой и всеми с непокривленной душой, передо мной промелькнула давно услышанная байка. Что-де недавно работал себе не хватающий звезд с неба некий парень водолазом. Но однажды что-то не- ладное случилось под водой, и потерял парень от кис- лородного голода память. Стали бродить в нем про- тиворечия, естественные только для него самого, и вытекающие из них вопросы, и мучительный поиск

ответов. Главным образом его занимало, почему окружающие его люди считают, что, мол, пусть повседневная несправедливость остается, и говорят: «Лишь бы не было хуже». Парень считал, что слова «лишь бы не было хуже» превращают человека в скота.

Короче, по известной только компетентным товарищам статье попал парень в психиатрическую больницу с диагнозом-приговором: мания социальных преобразований. Говорят, что там, несмотря на усилия врачей, к нему вернулась старая память. И он, раскаявшись, стал нормальным. Его отпустили. На свободе он мучился недолго. Трудно было жить с двумя памятьми-врагами. Старая убеждала его, что он живет, новая говорила, что он, советский человек, потерял то, что дано зверю, и не получил того, что положено человеку. И парень утопил, хотя и не доверял больше воде, свои две памяти вместе с собой.

Байка мелькнула и исчезла. Чичко, заглядывая в бумажку, заговорил:

— Вот что, Свежнев, хоть ты и не совсем созрел и не до конца понимаешь высокий долг члена ВЛКСМ, но мы всё же решили пойти тебе навстречу: мы примем тебя в Ленинский комсомол и учредим над тобой шефство, чтобы к концу службы из тебя вышел образцовый комсомолец, достойный этого высокого звания.

Свежнев вспыхнул:

— Я не просил об этом, я даже не знал, что вы собираетесь меня куда-то принимать. И кто вам сказал, что я собираюсь вступать в организацию, которую не считаю организацией, которая сама по себе ничего не представляет и в которую заставляют поступать чуть ли не насильно. Если кто-нибудь скажет мне, в чем различие между нашим профсоюзом и нашим комсомолом, то быть может, я еще подумаю. А пока противно.

Рубинчик стукнул ладошками по красной скатерти:

— Я протестую. Это провокационная постановка вопроса. Ему противен комсомол, который во время Гражданской и Великой Отечественной войны, вооруженный идеями бессмертного Ленина, отстаивал независимость нашей Родины. Ему противен комсомол, который построил ДнепрогЭС, который под мудрым руководством партии строит коммунизм. Мы ошиблись, ты не достоин не только быть комсомольцем, но и советским солдатом.

Свежнев в ответ крикнул:

— Ну и отпустите домой!

Парторг беспомощно развел руками:

— Вы видите, товарищи, как беспартийный Свежнев относится к выполнению своего воинского долга. Я предлагаю учредить над ним всё же комсомольское шефство: пусть самые сознательные комсомольцы его роты ежедневно дополнительно занимаются с ним политической подготовкой и воспитательной работой. И проследят, чтобы он занимался усердно самоусовершенствованием. Берущих над Свежневым шефство мы назначим позже. Комсомольское собрание считаю закрытым.

Солдаты, смотревшие на Свежнева недоуменно, как на свихнувшегося, никак не понимая, какая муха укусила этого дурака, радостно встали и, с удовольствием воспользовавшись случаем потолкаться, бросились к дверям. Коля гордо вышел из ленинской комнаты, неся в себе радость победы над самим собой. Я нарочно замешкался. Все вышли, кроме Рубинчика, деловито собирающего бумаги со стола. Он сказал:

— Младший сержант Мальцев, подойдите.

Я подошел по всем правилам устава:

— Товарищ подполковник, младший сержант Мальцев по вашему приказанию прибыл.

— Я знаю, Мальцев, что ты устав знаешь. Не разыгрывай комедию.

Я знал, что с ним это действительно бесполезно,

но прежде, чем ответить, все же осмотрелся. До двери было далеко, подслушивать нас не мог никто.

— Да знаю, поэтому, если вы будете меня тыкать, то мне останется только брать с вас пример.

Парторг в желчной злобе прикусил губу.

— Подожди, я и до вас доберусь, Мальцев. Я знаю, вы вместо себя подсунули Свежнева. Вы думаете, что он один будет отвечать за свои и ваши ошибки! Ошибаетесь! Вы исподтишка разрушаете — сознательно или нет, всё равно, — дисциплину, мораль и боеспособность части больше, чем это делает Свежнев. И вы за это заплатите по счету.

— Вы ошибаетесь, товарищ Рубинчик. Меня вы не съедите, как Колю, и вы это знаете, иначе сегодня не с ним, а со мной разыграли бы этот спектакль. А относительно боеспособности, то, к вашему великому неудовольствию, именно расчет Мальцева лучший в части, даже по политподготовке, тут ничего не поделаешь. Я не идеалист, тут мы сходимся, меня на мякине не проведешь.

Не отдавая чести, повернулся и вышел. А вдогонку мне неслось шипение:

— Все равно в свою Францию ты не уедешь!

Коля сторонился меня. Я был этому рад. После учений что-то сломалось в наших отношениях. Хоть я и старался, но не мог еще списать Колю в прошлое. Я тогда не знал, что никогда не смогу.

Я пошел в библиотеку. Света встретила присвистом и словами:

— ...Что муж в сраженьях изувечен, что нас за то ласкает двор?

— Ладно тебе, не очень-то и ласкает. Соскучился по тебе.

— Пойдем на библиотечный склад, на томах человеческой мудрости всё же не так жестко, как на полу. Сразу видно, что француз... Вначале вежливое «со-

скучился» произносит, а затем на пол валит. Пойдем, но учти, я на ночь тебя хочу.

— Будет и ночь.

После караула, через день, после отбоя, оставив шинель под одеялом вместо себя, пошел к Свете. К утру опустошенный, чувствуя легкое головокружение, гладил лежавшее рядом тело и прислушивался к еще не уснувшей жадности. Света молчала, была покорна. К утру разговорилась:

— Знаешь, глупо искать свое счастье, шарахаясь от жестокости к юродству. Я подумала, что, в общем, к чему мне неприятности, к чему сниматься из-за тебя с насиженного места, надоело ведь, пожалуй, и вновь искать работу. Стоит мне ведь слово сказать — и кончено. Мне на тебя в конце концов плевать, но... Но оказалось, что дело вовсе не в тебе. Короче — мне сказали, чтоб я тебя «устроила» в дисбат. То ли приголубила до трех губ в два месяца, то ли устроила тебе драку с гражданскими. Как видишь, мне дали выбор, но чтоб ты по дисциплинарному попал за решетку. Ты представляешь, хоть я и офицерская шлюха, а всё же противно стало. Согласилась сдуру, а теперь воротит. Не смогу я, так и знай.

Я вновь почувствовал свое тело твердым.

— Ну и дура. Назвалась груздем — так и лезь, куда следует. Шлюха и есть. Неестественно это при твоей профессии — читать Сартра, экзистенциализм тебе, как чёрту кочерга. Сделала бы, а после каким-нибудь добрым делом — переспала бы с каким-нибудь жирным девственником, например, — от себя бы и откупились.

Света удивленно присвистнула:

— Вот чудак, другой бы благодарил, а этот ругается. Не знаю, может не могу оттого, что родители были у меня хорошие. Ладно, ты иди. Больше не придешь?

— Нет.

Время стыло. События летели. Уже и Светин образ рассыпался пылью. Самоволка прошла незаметно. Кончался запас анаши. Конопля вокруг было много, но собирать пыльцу было утомительно, нудно. В двадцати километрах от части был лагерь примерно на тысячу голов. Зэкам торопиться было некуда, они копили анашу, собирая ее в своей зоне, и меняли у охраны на хлеб, масло, табак, концентраты. Зэковский паек был скудным, чаще всего давали гнилую селедку и рыблю похлебку или суп, где вместо мяса плавал иронический рыбий глаз. С одним охранником-краснопогонником мы (четверо анашистов моего взвода и я) встретились в Покровке, выпили, потянули анашки. Разгадав в нас своих, парень сказал:

— Вот что, ребята, у меня к вам предложение. Зелья у нас довольно, только бритые зажирели, им, понимаешь, мяса захотелось. Короче — за собаку получите комок с голубиное яйцо. Я вам позвоню, когда буду на вышке. Место у меня всегда одно. Вы от опушки, там только одна и есть (туда испокон веков все комдаты любят ходить), и прямо нос к северу. Вы же знаете приблизительно, где лагерь. К зоне подойдете, станьте и не шевелитесь, пока прожектор вас не найдет. И ждите. Если прожектор мигает, тогда подходите. Я через себя к последнему кругу подпущу троих. Вы им мясо, они вам — зелье. В любом случае один комок с трех собак — мне. И глядите в оба. Согласны?

Три старика сразу закивали головами. Я жестом умерил их пыл и коротко задумался. С одной стороны, он может пропустить зэков через себя, сразу спуститься с вышки, прокусить для видимости побега проволоку, вновь подняться и, перестреляв их, заработать себе отпуск. Но для чего ему нужно вместе с зэками перестрелять и нас? Логика нет. Было бы расследование. Да, нужно брать. Не сразу. Я кивнул головой и пошел за бутылкой спирта. Через час узнав его имя,

адрес на гражданке, имена родителей и любимой девушки, несколько протрезвил его:

— Слушай, мы согласны. Только учти, на нас тебе отпуск не заработать. И дисбат тоже. Меньше десяти годиков не получишь. Каждый из нас напишет письмо с объяснением, в случае чего письмо сразу попадет, куда нужно. Так что ты и твой друг на вышке находитесь на всякий случай подальше от пулемета. Ясно?

Парень яростно замотал головой:

— Да что вы... ребятки. Да как это я могу своих... да вы что? Нет, как вы могли подумать?

— Ладно, давай военный билет: если фамилию не соврал, тогда друг, соврал — враг, и нет тебе прощенья. Вот так.

Парень дал. И с год, примерно раз в три месяца, сразу после отбоя, мы, оставив одного для слежки за казармой, для вранья в случае чего, выходили за пределы части, искали добрых голодных собак, приманивали одних добрым словом, других — добрым куском гнилой селедки или мяса. Всаживали им под собачий кадык штык и несли военным шагом к лагерю, где всё происходило, как описывал парень.

А потом парень долго не давал о себе знать. Мы сами позвонили ему.

— Теперь стало трудно, новые появились, — сказал парень, — пулеметы удвоили. Не знаю, как быть.

Я ему посоветовал:

— Если хочешь спокойно дембельнуться, то поделись получаемым наваром с остальными.

Он, вероятно, понял. Била погода под минус двадцать с ветром, когда мы в одиннадцать перепрыгнули через забор части. Всё, кроме воющей ночи, спало. Собак, млеющих в тепле будки, не будила смерть, налетающая на них по-человечьи внезапно. Из деревни к лагерю шли скорым шагом. Каждые два километра приходилось перебрасывать труп пса с плеча на плечо.

К середине ночи были у опушки. Встретив нас, прожектор запульсился, затем замигал. Торг состоялся обычный: за четырех псов или сук — три комка анаши, только... один ээк, забравший туши, сказал на прощание:

— Большое спасибо, большое спасибо...

Он не сказал «покедова» или «приветик, кореш», или «нашим-вашим», а — «большое спасибо». Краснопогонник говорил, что у них удвоили пулеметы на вышках, строгости ввели. Мы продвигались к части короткими пробежками. Только на половине пути все элементы логической цепью выстроились перед глазами, и я понял, что поблагодаривший меня человек был политзаключенным. Мне мешали понять это раньше псы и анаша.

Вернувшись в казарму, повалился на койку. Казалось, едва ринулся в сон, как завопила сирена тревоги, подхваченная голосами дневальных и дежурных по ротам. Подняли и с пустыми автоматами погнали к танковой части, нашим соседям. В ночи, дравшейся с рассветом, были видны языки пламени. Оцепление поднятых по тревоге частей охватило километров десять от танкового городка к границе. Никого не нашли. Когда полукольцо от границы подошло к городку, над головами было ветреное утро. Возле сгоревших складов толпа ребят окружала четверых, лежащих на своих караульных тулупах с застывшими на мертвых лицах гримасами боли, страха и отчаяния. Танки вокруг рычали, возле них в растерянности стояли экипажи: идти было некуда. Офицеры дали им наглядеться на убитых — наглядное пособие зверства врага. Я смотрел, и у меня от яростного страха руки до боли сжимали автомат. Одним из них мог быть я! Завтра идти в караул. А китайцы ошиблись: вместо складов с боеприпасами подожгли обмундирование, лыжи, палатки. Совсем зря зарезали ребят.

Весь день бурлила Покровка, ребята ходили проповедниками мести, войны. К утру нашли зарезанным одного корейца-колхозника, с незапамятных времен жившего в Покровке. Его жена, русская, была убита прикладом. Дочь изнасиловали, потом засунули во влагалище четвертинку водки и разбили ее там. Расследование ничего не дало.

14

Караул обещал быть трудным. Я шел разводным. Часовой вполне мог со страха выпустить очередь до произнесения мной пароля, кроме того, ветер относил слова пароля в сторону. Ночью, меня часовых, я так орал пароль, что к утру охрип. Страх перед каждой сменой не давал спать. Часто, крича пароль и не услышав ответа, боролся с желанием выпустить в часового весь рожок. Переборов себя, ложился на землю или прятался за дерево. И вновь орал. К утру пришло равнодушие, и я уже не ложился на землю. К обеду, когда выводил свою последнюю смену, подошел офицер из штаба, сказал:

— Мальцев, топай в штаб, во Францию поедешь. Слышишь?

Это было так невероятно, что ответил, не повышая голоса и без удивления:

— Слышу. Разведу людей и приду.

К штабу шел медленно, чувствуя головокружение от резких толчков радости, рвущей внутренности. Меня ждали начштаба Трусилов и Рубинчик. И я сразу понял, что Франции пока не увижу. Заговорил Трусилов:

— Вот что, Мальцев, вы, вероятно, знаете, что вашей матери разрешили уехать за границу, во Францию. Ваша мать ходатайствовала перед Военным министерством о предоставлении вам отпуска с целью

проститься с вами. Министерство оставило решение на наше усмотрение. Мы пойдем навстречу вашей матери. Мы вам даем семь дней: два дня на дорогу, пять — на побывку. На самолет сможете сесть хоть сегодня вечером. Льготы действительны до апреля. Вопросы есть?

Я смотрел на хмурые физиономии офицеров и думал: если я сяду завтра утром на самолет, что маловероятно, то только вечером буду в Москве. Короче, если проведу дома дня два-три — будет еще счастье. Только раззадорить себя, выпить стаканчик лимонадику в бесконечной пустыне. Нет, лучше рискнуть. Яростно собрав все силы, сопротивляясь желанию схватить брошенные мне пять дней, ответил:

— Так точно, есть! Согласно уставу, товарищ подполковник, военнослужащий срочной службы должен пользоваться только железнодорожными путями сообщения, во всяком случае, дорога ему учитывается рельсовыми днями пути. Кроме того, я не могу лететь, мне плохо в самолете: теряю сознание, блюю. Сожалею, но по вышеуказанным причинам никак не могу лететь самолетом.

Рубинчик, остановив жестом собирающегося ответить Трусилова, сказал, выплевывая слова:

— Значит, вы не поедете. Вот и всё! Можете идти!

Когда вышел из штаба, ветер и снег надавали пощечин. Во мне была безысходность, и сухие глаза ждали слез. В комнате для бодрствующей смены грелся только что сменившийся Свежнев. Помначкар, командир второго отделения моего взвода, сменивший меня на разводе, воскликнул, складывая автоматы в шкаф:

— Ну как, Святослав, летишь?

— Не знаю.

Сержант пожал плечами, сел за стол и уснул. Свежнев, выслушав, грустно проронил:

— Надо было согласиться. Не стоило сердить золотую рыбку. Отказаться от отпуска?! Никогда тебя не пойму!

— И не поймешь. Мне химеры не нужны, я не хочу облизывать отпуск, я его сожрать хочу. Я не хочу мечтать о свободе, я ее жрать хочу. И кроме того, я — реалист. Неужели ты допускаешь, что они по своей воле дали мне эти пять дней? Как бы не так! Это значит, что мать нажала на министерство, а министерство — на них. Придется им меня отпустить. Я подожду. Я научился ждать.

Свежнев, взглянув на меня сонно и сожалеюще, сказал:

— Во Франции свобода, но ты, Мальцев, ее там не найдешь. Не для тебя она, не для нашего брата. Никуда ты не денешься...

Свежнев сел рядом с сержантом на лавку и, навалившись грудью на стол, сладко уснул.

Став к раскаленному боку печки, я набил «беломорину» анашой, с жадностью втянул в себя зелье. Спокойное одиночество стало раздвигать тиски суеты; пристальная злоба слепла и растекалась в звенящей малиновым звоном пустоте мира. В дрёме увидел милое лицо счастья. Вечером смотрел в Доме офицеров французский фильм «Фантомас» и отчаянно скучал.

Занималось еще одно утро. Меня вызвали в штаб. В кабинете сидел только Трусилов.

— Вот что, Мальцев, вы сможете поехать поездом, но прежде должны принести справку из санчасти, что не можете по состоянию здоровья лететь самолетом.

Я развел руками:

— Вы шутите, товарищ подполковник, ведь для того, чтобы проверить вестибулярный аппарат, нужна центрифуга. В Покровке ее нет.

Трусилов побагровел:

— Меня это не касается! Я знаю, что вы полетите самолетом. Мне нужна справка. Я вообще считаю, что с вами, Мальцев, мы возимся уж слишком долго. Ну и времена пошли!

— Да, — ответил я, — при Жукове вам легче было, товарищ подполковник. Разрешите идти?

— Идите.

Я шел к санчасти в надежде, что майор медслужбы Штириков не потребует у меня справки о том, что мне нужна справка. Санчасть, которую до сих пор любили называть ветеринар-трупарней, была раем для симулянтов и адом для больных, которых Штириков поголовно считал симулянтами. Если у человека болела голова или ноги, Штириков говорил: «выбери, могу дать пирамидон, могу помазать зелёной». Единственное, что он лечил более или менее прилично, был триппер. В прошлом году парня, укушенного энцефалитным клещом, Штириков лечил от гриппа или другой простуды, пока парень не умер. Правда, уже полгода в санчасти работал молодой лейтенантик — врач из Ленинграда, знающий толк в тайнах Асклепия. Но он так пил вот уже три месяца, что часть с огорчением ожидала его смещения.

Санчасть была белым домиком, и только плотно окружающие ее транспаранты с лозунгами и торчащие из земли стальные доски с намалеванными на них выдержками из уставов напоминали о ее принадлежности к миру военнотружущих. В двух палатах санчасти было коек двадцать, на них постоянно возлежало с десятков симулянтов — тех, кто при помощи доброго куса сливочного масла и искусных конвульсий добыл себе зарегистрированный в книге ветеринар-трупарни диагноз о воспалении слепой кишки и прохлаждался на койке в ожидании перевода в госпиталь для операции, и с мечтой об отпуске после нее; кто, отравив свои легкие курением особого вида пластмассы, продаваемой гражданскими лицами, — утверждав-

шими, что через годик вызванное этой пластмассой затемнение легких исчезает бесследно — ждал врачебной комиссии и досрочной демобилизации. Были ребята, которые тщетно в течение месяцев пытались доказать существование язвы желудка или радикулита. Некоторых таких «симулянтов» в конце концов увозили в госпиталь кричащими от боли, скрученными до судорог. И всё же многие, громко называя санчасть ветеринар-трупарней, считали ее курортом.

Я прошел палаты, здороваясь с ребятами, раздавая налево и направо папиросы, прошел кафельный коридор, лишенный каких-либо сидений — за что его и прозвали «залом стоя-ожидания» или иногда — «бесполезно-ожидания» — и постучал в дверь кабинета Штирикова. Ответил мне голос лейтенанта Волошина. Он сидел за столом Штирикова пьяный, в расстегнутой гимнастерке без ремня. Увидев меня, вскинул по-римски руку, воскликнул:

— Святослав, моритури тэ салутант!

Перед ним была склянка со спиртом и несколько сморщенных огурцов. Я сел напротив Волошина и покачал головой. Вероятно, это кольнуло его пьяное самолюбие. Он спросил:

— Знаешь, почему вливаю в себя этот яд?

— Нил нови суб сол, ты хочешь, чтобы тебя выкинули из рядов наших славных вооруженных сил.

Волошин заплакал и, колотя кулачками по столу, пискливо завопил:

— Да хочу! Я что, семь лет зубрил, работал, как вол, тянул свое голодное пузо от стипендии к стипендии, чтоб лечить радикулит зелёнкой и вывихи — угрозами? Я всё отдал мечте стать хирургом, на последние копейки выписывал учебники, потому что в библиотеках было одно дерьмо. Просидел всю юность за столом, чтобы стать хорошим хирургом. И что? Выходит, я все эти годы учился срезать мозоли. И правда, на кой чёрт, если не могу доказать этому

борову Штирикову, что воюющий по ночам больной Высоцкий действительно поражен радикулитом. Ты ведь знаешь, его посадили на гауптвахту в одиночку, где он спал на цементном полу. Тут не только радикулитом, тут... Чёрт, дернуло же меня вступить в партию! На пятом курсе, понимаешь, подходит парторг курса и говорит, что, мол, отличник, давай, мол, в партию, достоин, мол. Диплом в руки, и по партийному набору сюда. Попробуй я отказаться, покачали бы они головами и отпустили бы на все четыре стороны, но места фельдшера я бы после долго искал днем с фонарем. Ехал, всё же надеялся, что попаду в госпиталь, в операционную. И что? Говорю Штирикову, что у парня радикулит, а он мне отвечает, что таких во время войны ставили к стенке. Ну что будешь делать? Сунули меня в эту форму на двадцать пять лет, сунули в эту аптечку минимум на пять-семь лет. Если и доберусь до операционной, то разве что лет этак через десять, когда будет поздно, когда остану безнадежно. А я с закрытыми глазами грыжу делал. Вот сопьюсь, они меня и выгонят. В любую деревню поеду, лишь бы операционную найти, и людей лечить. Лечить! Ты же знаешь этот гнилой климат лучше меня, Святослав. На первом году покрываются люди фурункулами, гной из них буквально течет, появляются инфекции. Сделать каждому переливание крови — и пойдет парень, как новорожденный. Да видите ли, не положено. Проклятая жизнь!

Пока Волошин плакал и жаловался, я успел опрокинуть в глотку две стопки спирта. Воспользовавшись паузой доктора, заговорил:

— Я тебя, доктор, понимаю. Только плакать зачем? И пить тебе надо мудро. Никогда не пей в одиночку, только перед свидетелями. Выбирай их из болтливых, доносчиков, мерзавцев. Пусть несколько раз в месяц на тебя прут в дивизию кляузы. Гляди, сопьешься — не только скальпель, девушку в руках

держат не сумеешь. Действовать надо. Сам на себя пиши доносы левой рукой. И учти, ты должен быть профессионально и политически чист, только пьяницей, пачкающим единой водкой честь мундира. И, возможно, тебе повезет. А главное, и себе не доверяй, не то что людям. А ты ко мне с такими разговорами. Как маленький!

Волошин налил мне стопку и поднял глаза, полные дружеского умиления:

— Ты настоящий человек. Ты говоришь трудно, но правильно. Но меня всему этому не учили... и не хочу... пусть таким и останусь. У меня никогда не хватит сил стать, как ты советуешь, холодным ко всему, кроме поставленной цели... Да, послушай, мне сказали, что тебя отпускают. Я тебя от всей души поздравляю. Так что тебя привело ко мне?

Выслушав мои объяснения, Волошин зло рассмеялся:

— Справка. Положено и не положено. Вот на чем держится здоровье, счастье человека. А ты знаешь, как я решил стать врачом? Так я тебе расскажу. Я тогда учился в классе седьмом. И обожал лыжи. Пошел однажды в парк покататься и вернулся с рукой, поломанной в двух местах. Побежал в ближайшую поликлинику. Бегу, реву, гляжу на кость, прорвавшую кожу на запястье, и опять реву. Прибежал в поликлинику, а мне там говорят, что я не из их района. Через весь город побежал в свою. Она оказалась на ремонте. Помчался к областной больнице. Стоял там в длинной очереди часа четыре, пока перестали принимать. Одним словом, сломал я себе руку в десять утра, а гипс мне поставили в десять вечера, да и то знакомый отца — так сказать, по блату. Тогда я и решил стать врачом, чтобы лечить не только недуги, но и несправедливости. Может, я всё и наврал, а поступил в мединститут потому, что мать моего лучшего друга преподавала там химию. Но это неважно,

главное, мне теперь кажется, что руководило мной тогда то, что называют фрейдovým комплексом, который я с тобой и открыл. Прости, что я тебя задерживаю, вот тебе справка; если хочешь, могу в ней добавить, что твой начальник штаба осёл? Не хочешь? Ну, твое дело. Желаю еще раз удачи.

Глядя на Волошина, я чувствовал его тихое отчаяние. Отраженный в его пьяных глазах, я казался маленьким и кривеньким. Он китайским болванчиком кивал в мою сторону. Махнув рукой, держа комок в кадыке, я вышел с желанием никогда более не увидеть Волошина. Вновь пораздавав папиросы в палатах веселым симулянтам и грустным, несмотря на отдых, больным, пошел к штабу, держа в потном кулаке надежду.

— Так. За документами и к начфину можете прийти вечером. И вот что, Мальцев, по прибытии из отпуска вы мне лично предъявите два железнодорожных билета — туда и обратно. И учтите, без фокусов, на этот раз губой не отделаетесь. Подпишите обязательство!

— Никак нет, товарищ подполковник, к сожалению, подписание подобных обязательств не предусмотрено уставом. Разрешите идти?

— Идите.

По навыку, приобретенному в учебке связи, нашел у одного москвича в военном городке телеграмму, посланную ему родителями. Оторвав телеграфные ленточки, полные поздравлений и поцелуев ко дню рождения парня, оттарабанил на телеграфном аппарате станции связи полка текст новой телеграммы, гласящей:

«Соня тяжело больна я в отчаянии необходимо твое немедленное присутствие Надя»

В семь вечера документы оттопыривали карманы гимнастерки, в вещмешке лежали две фляги спирта, несколько банок китайской тушёнки. У меня не было

желания, подобно многим, одалживать для отпуска у ребят сапоги, ушанку и прочее. Так в своей старой длиннополой шинелёнке, к которой относился с неприкрытой нежностью, и отправился на станцию.

В полночь, к началу отпуска, был на владивостокском аэродроме. Патрули только покосились на мою старую шинель, выражение лица служило лучшим доказательством присутствия в кармане отпускного листа. Билетов на ближайшие пять дней в кассах не было. Пошел к дежурному по аэропорту. Только заведя меня, утомленный однообразными криками ходатаев, толстяк-дежурный заворчал:

— Чего ко мне все лезете? У вас свой комендант есть, к нему и топайте. Нет мест. Нет.

— К вам иду, потому что комендант говорит, что много нас таких... Вы такого не скажете. Вот телеграмма. Я дочь свою хочу живой застать, а он не понимает.

Толстый дежурный поуспокоился, потянулся к бланку.

— Да, тут-таки не шутки. Ладно, хлопец, я пощу. Вылетишь в пять утра. Иди. Жди. В четыре приходи, и никому ни-ни, а то подумают, что я Дед Мороз.

Я вышел из кабинета чудесного толстяка, шел и улыбался встречным патрулям. Не было в эти минуты плохого ни во мне, ни в мире.

15

Я видел в мигающих огнях взлетающих самолетов, в реве невидимых сопел слова, то прыгающие в хаотичном веселье, то выравнивающиеся в спокойную и громадную радость:

— Свобода! Понимаешь? Свобода, говорю я тебе!

Мистическое слово. Древние говорили, что в нем ад и рай. Я видел в нем мгновение счастья, затем просто привычку. Или борьбу с привычкой быть свободным.

Я летел. Время тащилось, отставало и оставалось на востоке. Я блаженствовал в глубоком кресле «Туполева». Тысячи километров уходили назад, широкие, не подвластные никому, мощные. Благо? Зло? Не к чему было думать, знать...

Во время окружных учений в конце 1966 года нас, курсантов связистов-дальников, обеспечивающих кабельную связь между штабами армий, бросили на места прорывов танковых колонн (зарытый на полметра в землю кабель был беззащитным перед гусеницами танков, разворачивающими размякшую осеннюю жижу). Мы с товарищем, нарубив хвороста, погасили в одном месте болото-землю и легли выжидая, положив возле себя длинные рогатины. Дорога, где был проложен кабель, пустовала до вечера. Наконец донесся постепенно заполняющий всё пространство шум моторов. Жижа, покрывающая землю, затряслась холодцом. Озябшие, мелкие под монотонно падающим дождем среди однообразной кочковатой земли, мы бросились к дороге, подняли кабель на рогатины, укрепили их и встали. Стояли, поддерживая их, ночь, утро, день. Танки всё шли с нескончаемым лязгом стали. Изредка бесшумно проскальзывали ракетные установки. Я был покрыт грязью, отбрасываемой гусеницами, и почти уже бесчувственными руками обнимал рогатину, на конце которой вместе с порывами ветра свирепствовал, вырывая ее из рук, кабель. Ребята, высываясь из люков, подбадривали:

— Держись, паутина! Держись, всё ерунда по сравнению с мировой революцией!

И сонные губы как бы поневоле лихо отвечали:

— Давай, фанера, давай! Да смотри, столбы не ломай!

Я чувствовал себя частью этой катившейся мощи. Один Мальцев во мне — со своими мелкими желаниями, злобой, жаждой обрести какую-то свободу, — стушевывался перед другим — усталым и гордым своей силой солдатом, каким я был в тот день, каким я, быть может, бывал на каждом учении, не отдавая себе в этом отчета. Кем я был тогда — милитаристом? Защитником родины? Не нужные никому слова...

Стюардесса улыбалась, подносила лимонад, потом бифштекс. Я кричал, запивая его спиртом. Угощал соседей. Расстегнутый мундир и небрежно брошенные на пол ноги создавали уют в мыслях, желаниях.

Скоро Москва. Денек у Алексея, а там махну в Ярославль к матери. Мысли перекинулись на старшего брата Алексея. Он теперь обеими руками голосует за отъезд во Францию, на «землю обетованную». А не он ли шестнадцать лет назад, шестнадцати лет отроду был членом ФКП, что значит «левым», потом убежденным сталинцем, что значит «правым левым», а теперь стал «правым правым». В сущности игра слов, которую неизвестно почему называют великими колебаниями души ищущей, находящей. Был коммунистом, стал антикоммунистом, остался же «правым». Холодный интеллект, по-детски недоверчивый к людям, колкий человек, глубоко чувствующий уколы других; гражданин, попытавшийся подвести моральную базу под законы страны, где он живет, и только добившийся инстинктивной борьбы со своей моралью. Мужчина и муж, часто любящий свою жену за безраздельное доверие к ней, и изменяющий ей лишь, чтобы занять чем-то стоящим свое самолюбие.

Внешне все это называлось «нервный лентяй» и «сексуальный маньяк». А в общем, мой брат — славный парень.

«Туполев» пошел на посадку. В такси я глядел прежними глазами на московскую толпу и сказал себе, что уровень жизни трудящихся неуклонно растет. Я скороговоркой мысленно произнес эту стандартную фразу, вошедшую в меня неизвестно как. «Не ведают враги наши об истинной силе пропаганды, не встречающей на своем пути ничего, кроме шкуры человека», — сказал мне один пьяный парторг.

Дверь открыла жена брата, Нина, любившая меня за то, что я брат ее мужа и ненавидевшая за то, что был знаком и даже дружен с его любовницами. Обняла и, радостно улыбаясь, повела в комнату. Алексей поднялся с дивана, насмешливо произнес:

— Ба, а я уж думал, что ты стал жертвой случайной необходимости.

— Ошибаешься, братец, борьба двух азиатских способов производства меня еще не съела. Как мать?

— Она уехала. Она в Париже. Можешь не дуться, ждешь тебя она не могла, срок подходил к концу. Да и встреча ваша ничего б не изменила.

Во мне медленно всходило раздражение:

— Наверное. Просто забавно: в сущности то, что я здесь, — ваша работа: матери, твоя да папеньки нашего. Тот удрал через три года после приезда, мать — теперь, ты ждешь в тепле разрешения, и только я набиваю себе шишки, расхлебывая вашу бывшую мозговую путаницу.

Нина, ладная женщина с монгольскими глазами, звонко рассмеялась:

— Вот олухи! Будет вам лаяться! После двух годов свиделись и все туда же! Я вам сейчас водки подам.

Алексей сидел за столом развалисто. Разбавляя спирт водой, — широколобый, ширококостный, — он

с любопытством разглядывал зеленую солдатскую флягу. Его глаза с привычной печатью презрительного превосходства шурились.

— Надеюсь, ты хорошо служишь? Терпеть не могу хулиганства, политического в том числе. Нужно быть лояльным и ненавидя. У меня сегодня встреча с одним таким политхулиганом в «Минске» — ты, наверное, помнишь, ресторан возле площади Пушкина. С Федором Сагадаевым. Из лагеря не так давно вышел, хороший филолог, только тщеславный буян. И вообще знай, что в Москве и в Ленинграде настоящих интеллектуалов нет или почти нет, у них здесь нет времени стать настоящими: много ходят, много говорят, много буянят, думают же мало. Во Владимире, в Ярославле — там, в тихом омуте, черти сидят, тихо копят, по крупинке знание собирают, тяжелое русское знание, когда в одном рту необходимо для холодной истины жевать Запад и Восток. Там для *них* настоящая опасность. А буяны легки на подъем; мелкие перевоспитываются в лагерях, крупных уничтожают. Они мотыльки-однодневки, пауки же в тишине подбираются к шмелю. Это иносказание для тебя, младшой, чтобы поняли твои трепещущие под черепной коробкой жилки.

Мне вспомнился Свежнев:

— Сволочь ты, Алексашка, сволочь! Тебя-то что ждет на этом Западе?

— Правильно, сволочь! Сволочь, потому что ты прав. Ты можешь окрестить меня хамелеоном, но поверь брату на слово, — гораздо важнее сейчас бороться против просоветского французского коммунизма, чем против его учителя. Только настоящий русский интеллектуал-националист умеет ждать и видеть, как глыба власти себя разрушает, обливаясь то кипящей, то ледяной водой. Только он знает, что Знание и есть Время в политическом и преобразователь-

ном понимании этого слова. Не понимаешь? Подрастешь — поймешь.

Последние слова он произнес как-то непонятно. Не сразу дошло, что они были сказаны по-французски.

16

Брат был выше меня ростом, пришлось пойти в ресторан, как был, в форме, — было всё же проще пренебречь столичными патрулями, чем ходить по штанинам братниных брюк. Пока шли, говорили по-французски. Басурманские слова с легкостью шли из горла, было только удивление, что произносятся, я их понимаю. Когда входили в вестибюль, Алексей рассмеялся:

— Признаться, впервые встречаю советского солдата, говорящего с парижским произношением. Знаешь, у тебя настоящее «париго».

Нас уже ждали. Один, вероятно Сагадаев, помахал призывно рукой. Второй был французом — достаточно было взглянуть на его лицо, лишенное скованности, на его тело, ловко, не развалисто вложенное в кресло. Его звали Франсуа Рокар, он был представителем какой-то мудреной французской фирмы в Москве. По-видимому, он чувствовал себя в Московии радостно-необычно. Водку пил по-кошачьи, лакал из маленьких рюмочек, не закусывал. Говорил свободно, громко и много. Распрашивал меня о службе, щупал глазами мундир. Передо мной сидел человек, могущий делать то, что хотел, говорить спокойно всё, что приходит в голову, не оглядываясь по сторонам. Он не был ни глупым, ни несимпатичным, но естественное для него обладание свободой раздражало. Отвечая ему, я против воли приукрашивал, не жалел светлых тонов, описывая быт армии. В моем рассказе незаметно для меня самого проскальзывали слова: сурово,

но справедливо..., да нет, хорошо, чего же... наша сила, мощь нашей армии... вооруженные силы готовы... трудно, но нужно...

Алексей слушал равнодушно, Сагадаев беспокойно шевелился. Рокар сказал:

— Говорят о таинственной русской душе. Мне же часто думается, что есть особый вид русского героизма, хотя бы потому, что оно ненаграждаемое...

Сагадаев злорадно расхохотался:

— Это уж точно, глубины героизма нашего искать за рубежом нечего. А не черта ли русского героизма — не выносить сора из избы, как это и делает на наших глазах Мальцев-младший? Я могу рассказать вам интересную историйку, свидетелем которой был лично ваш покорный слуга. Это случилось в начале шестидесятых годов. Я был в те времена еще сравнительно молод, увлекался листовками, за что и попал в лагерь. Лагерь как лагерь, работали, ругались, болтали и, разумеется, терпели. Меня тогда цынга хорошо потрепала, так я, представьте себе, беззубым ртом развивал теорию Маркса относительно победы диктатуры пролетариата в странах с высокоразвитым рабочим классом и утверждал, что нужно ждать, пока советский рабочий класс приобретет хотя бы на восемьдесят процентов среднетехнический уровень... и тогда, мол, и т. д. И говорил, что это возможно в стране, где существует индивидуум, где герой остается всё же героем. Вы, наверное, помните фильм «ЧП» («Чрезвычайное происшествие»), поведавший о захвате чанкайшистами советского танкера. Тайваньские власти обещаниями, угрозами, пытками заставили моряков танкера подписать документ, подтверждающий их нежелание возвращаться на родину. Некоторые, по фильму, согласились и остались, но большинство героически держалось и добилось своей отправки в СССР. Нам этот фильм, вероятно, в виде агитации и пропаганды прокрутили в лагере. Когда слова «конец филь-

ма» закрыли от наших эковских глаз лица героев, спускавшихся с трапа самолета к толпе, утыканной цветами, во мне невольно шевельнулась зависть. Люди, цветы, счастливые лица — было от чего! Через десять дней узнал, что эти герои обитают неподалеку от меня, в десятом бараке. Их действительно встретили с цветами, развезли на правительственных машинах по домам, а через десять дней взяли по одному и отправили в лагерь вспоминать свое геройство или разведку, на которую они согласились работать. Все герои: одни марксисты душат, другие марксисты дохнут, третьи марксисты наблюдают, а четвертые марксисты трех первых марксистами не считают. И все герои. И никто не хочет вытаскивать грязь из избы на свет Божий, все героически сожительствоуют с идеей. Да, геройства у нас до отвала — заворот кишок враз получить можно.

Алексей громко рассмеялся. Меня ирония Сагадаева взяла за живое. Пустели графинчики с водкой, расстегивались одна за другой пуговицы кителя, вертелась на свободе шея. Обратился к Рокару:

— Сагадаев не охватывает проблему, а судит с точки зрения политики и гражданской морали. Проблема же относится к высшей социологии, и нечего тут говорить о гениальной болтовне Маркса с Пруденом. Государство есть и не собирается исчезать. Государство защищает армия. В стране, где осуществлен государственный монополизм и политический тоталитаризм, армия в основном служит капризам внешней политики, и без нее достаточно органов, занимающихся наблюдением над подданными. В демократических странах другое. Чем демократичнее страна, тем тоталитарнее должна быть ее армия. Только тоталитарность армии может защитить демократию государства от менее демократичной, и поэтому могущей стать более сильной, оппозиции. Нам показывали учения французских солдат. У бале-

рин тверже шаг. Армия не только военная, но и экономическая сила, и ею определяется экономическая и политическая независимость страны. И защищая тоталитаризм и присягу в нашей армии, я защищаю тем самым то же в странах, где их не существует, где исчезающие их остатки разлагаются в ставшей гнилой демократии. Китайцы — наши враги, но мы уважаем их. Солдат не может быть хорошим солдатом, если ему на учениях спускают с вертолетов жареных кур. Он не может быть хорошим солдатом, если ему внушают, что он должен требовать в армии свободы политических организаций. Он не может быть хорошим солдатом, если ему внушают, что атомная война не нуждается в хороших солдатах. Защищая армию вообще — защищаю, как это ни парадоксально, свободу, демократию.

Рокар похлопал в ладоши.

— Расскажите нам что-нибудь эффектное.

Я откинулся в кресле. У Рокара от хмельненького любопытства шевелились уши. Алексейпил с неясной улыбкой на искривленных водкой губах. Сагадаев никак не мог зацепить скользящий по тарелке маринированный гриб. Взглянул я на себя: сидит бордовая потная морда в расстегнутом мундире среди блеска стали и стекла, окружен белыми скатертями. Пробирающиеся к столикам офицеры недовольно оглядывались, увидев в зале солдатский мундир. Один направился к нашему столику. Я, пересилив ринувшийся на меня страх, громко заговорил по-французски. Офицер остановился, смутился и, видимо, плонув в сердцах, ушел, не желая связываться с наглым, сидящим не по форме да еще в недозволенном для него месте солдатом, говорящим по-западному. Чёрт его знает, кто его папенька при такой наглости!

Всё казалось мелким, цепляющимся за мелкое. Желание перепачкать хрусткие скатерти ресторана выплеснулось в почти радостно воспоминание:

— Тогда (а это было недавно, товарищи-господа) я только что попал по велению неблагосклонного военкомата в места не столь отдаленные от страны восходящего солнца. Неподалеку от места, где лежат в неподвижности дохлые воды, именуемые озером Хасан, раскинулась в узком пространстве бытия учебка. И вот на втором месяце непонятной жизни, где, кроме приказа, дозволенного нет, меня назначили в патруль. Шли мы по Сергеевке, охотились за ловкачами, самовольщиками. Бывало, начальник патруля, капитан, завопит, что, мол, лови! держи! — Ну, ты бежишь, а как догонишь, так жалость берет, и понимание мешает исполнению обязанностей. Догонишь потерявшегося от страха самовольщика, поглядишь на его измученно-изогнутый хребет, да и свистнешь ему на ухо: «Беги, козел, беги же, сволочь!» — и вновь с радостью на душе ударишь его носком в копчик, да и впрямь возрадуешься его прыти, а заодно и гавканию капитана. Под вечер видение гастронома, мягко изогнутая линия его очереди, нежность продавцов утопически слепили воображение. Капитан устал и лег поспать в развалинах недостроенного дома. И понесли ноги, пошлепала фантазия к гастроному, где продается водка для всех и всегда. Мое счастливое лицо столкнулось в дверях гастронома с физиономией майора-танкиста, патрулировавшего по добровольной партийной инициативе. Он утомленно взглянул на бутылку в моих нелепых, недодумавших ее прикрыть руках, после — на мое лицо, и произнес больше губами, чем голосом:

— Топай за мной, салага. Бутылка не букет роз, дубина.

Я шел, чувствуя себя не арестованным, а просто взятым из смешного принципа. Забытое состояние школьника, которого, цепко держа за рукав, ведет в учительскую завуч, пришло не обновленное годами. Хотелось сказать притворно жалобным голосом:

— А-а-а что я сделал?

Комендантская губа смахивала на овощной склад: длинное низкое здание. Личный состав комендантской роты, все не русские, с сержантами-украинцами, давали своими лицами и движениями понять, что для них стереть в порошок любого — только удовольствие поразмяться. Мне приказали снять ремень. И только тогда я понял, что я солдат: лишившись ремня, потускнел, плечи опустились, ноги потеряли упругость и жалко поплелись к камере. Остриженная голова под ушанкой чесалась, но не было смелости поднять руку. Камера пустовала, губари были на работах. Камера напоминала скорее нищее общежитие, чем военную тюрьму. Без малейшего следа мебели, по полу — огрызки хлеба, изношенные портянки, в углу распласталась худая шинель. Сквозь решетку видно было небо, густо намазанное синькой, дышалось свободно и глубоко. Ломаясь перед самим собой, вцепился в прутья, потряс их и весело рассмеялся.

Когда время показывало вечер, вопреки ночи, пришедшей без сумерек, губари снисходительной походкой, построившись в колонны по-двое, стали всасываться во двор губы. Замок моей камеры стукнул, дверь дрогнула призывно, и в щель ее вошло уничтожающее всякую гордость слово:

— Пш-э-э-э-л-л-л...

Становясь в общий строй во дворе губы, видел на всех лицах скуку. Кадыкастый украинец гаркнул:

— Смирно!

Строй, пестревший шинелями с оторванными хлястиками, рваными бушлатами и телогрейками, вытянулся и замер. Во двор вошел старый человек с погонами подполковника, ладно покрывавшими плечи. Он был пьян, шурился, изредка сплевывал. На лице коменданта-подполковника, прибывшего на вечернюю поверку на гауптвахту, отпечаталась скука, в которой пребывал весь низкий дом, похожий на склад, и лица его временных обитателей. Темнота ночи вяло и суч-

но сгушалась. Подполковник шел вдоль строя и ронял слова:

— Терентьев, ты еще здесь? Что, курил в камере? Добавки дали?

— Так точно!

— Хлобзын, ты мне надоел, не попадайся больше. Слышишь?

— Так точно!

— То-то. А ты кто таков? Откуда?

— Учебная рота дальней связи, товарищ подполковник!

— Курсант, значит. И уже успел... Фамилия?

— Мальцев, курсант Мальцев, товарищ подполковник!

— Нехорошо это, Мальцев, нехорошо. Как же ты умудрился?

К уху подполковника приложился сержант:

— Вин, товарищу подполковнику, водку покупав.

— Как? Что же ты, Мальцев, такой молоденький, а уже водку пьешь? Отвечай!

В губарском строю раздался смешок. Темень, слегка разрезаемая тусклым светом голых ламп, уже успела опустить мне на плечи безразличие. Я, вероятно, был удивительно похож на коменданта, когда отвечал:

— Так точно, пью.

— А любишь это дело?

— Так точно, люблю, товарищ подполковник.

— Так. Хорошо, что отвечаешь по чести и по совести. Или хитер? Ну, да всё равно. Принести его поллитру!

Разглядев бутылку, комендант приказал:

— Мальцев, выйти из строя. На, пей. Чего стоишь, купил ведь за свои кровные — так пей.

Безразличие не уходило. Ударом ладони выбив бумажную пробку, приставил горлышко к губам и вылил содержимое бутылки себе в горло. Поставил бу-

тылку возле ног и, безразличием удерживая хмель, ринувшийся в голову, принял прежнюю позу. Комендант дружески кивнул головой:

— Так, молодец. Теперь и ответ умеи держать. Даю тебе десять суток и для начала ночь «холодной». Всё! Марш все отсюда!

«Холодная» вполне оправдывала свое прозвище, это было неотапливаемое помещение с решетками без окон, два шага в ширину, три в длину. Очутившись в камере, пел, орал, ругался, пока не пришел сладкий сон. Похмелья не было; холод, выгнав, задушив последние очаги пьяного тепла, разбудил меня болью. До подъема часов шесть бегал, греясь, по своей миниатюрной тюрьме. До весны осталась память о той ночи — нос краснел, чернел, гноился. После подъема перевели в общую камеру. Завтракали: чай, хлеб, десять граммов масла на брата. До обеда долбали кирками, ломами мерзлую землю. После обеда наряд не спешил выгонять губарей на работы — мороз понимался, ветер тоже. В камере царило веселье, из потайных щелей извлекались окурки, они переходили из рук в руки, анекдоты плясали под шербатым потолком. Дверь скрипнула, и все пятнадцать губарей стали бегать, размахивая шинелями, разгоняя сизые дымки. Лицо с узкими глазами над крошечным носом просунулось:

— Эй, кто будет полы сегодня драить?

Дверь захлопнулась. Несколько человек взглянули на меня:

— Как кто? Салага пойдет, кто ж еще.

Тощий губарь, сморщив поломанный нос, подтолкнул меня сапогом:

— Давай в темпе!

Я схватил парня за отвороты шинели и приподнял над полом. Десять рук скрутили меня. Я зажмурился. Стало тихо, затем раздался тихий голос тощего губаря с поломанным носом:

— Брось, это тебе не гражданка. Здесь не по силе судят, а по старшинству, но закон тот же: кто не гнется, того ломают. Понял? Ты должен понять.

Тишина и крепкое дружелюбие рук, только что сжимавших мое тело, обрисовали контуры нового мира, в который я попал, мира, более справедливого и более жестокого. Открыл глаза, осмотрел спокойные лица:

— Да. Понял.

— Тогда иди.

Я пошел. И был выше унижения мыть полы, ползая у ног ребят из комендантской роты, заставивших меня перемыть пол трижды. На душе было хорошо.

То ли проверяющих в тот день не было, то ли поленились люди выгнать нас на мороз и попасть к нему в лапы самим, но мы больше не пошли на работы. Печь — часть стены между комнатой для отдыхающей смены и камерой — грела вовсю. Текли по камере разговоры и споры.

— А что, видишь, как разошлись косоглазые, Сибирь хотят у нас отнять. Худо им будет.

— Скоро, должно быть... Тогда ждали, пока фашист нападет, чего же теперь ждать... Скажешь, кому охота, а ить — много их, и жадные они. Не будет нам покоя.

— Почему?

— Почему? Потому что мы русские. Вот потому и не будет покоя. Повелось так.

Парень с поломанным носом сказал:

— Слушайте, я в штабе дивизии полгода служил, слышал многое, знаю. Если жить хотим и хотим остаться русскими, надобно первыми на них напасть, у них лет через пять-шесть континентальные ракеты будут.

Кто-то засомневался:

— Не принято это, русские всегда оборонялись.

Парень с поломанным носом рассмеялся:

— Невежа, что ты там знаешь. Учился, да не выучился. Посчитай, сколько раз враг приходил на наши земли, а сколько раз мы — на чужие. И враг с нашей земли уходил, а мы с чужой редко. Думать надо, а не ж... на губе протирать.

Высокий курносый парень с окающим говором встрял в разговор:

— Что вы заладили: русские да русские. Все мы советские, и родина у нас одна. Все мы должны против общего врага советской власти встать грудью на защиту родины.

Парень с поломанным носом махнул рукой:

— Ладно тебе, заладил! А мы что, другое говорим? Нет — так чего ты? Слова только другие, а война со словами не считается. А стоять будем и бить будем, и биты будем, подыхать будем, всё как положено и как водится...

Голос его неожиданно сорвался на крик:

— Разболтался! У них десятки миллионов, а ты мои слова пробуешь на зуб, сомневаешься...

Парень запнулся, потом искусственно рассмеялся:

— А что ты думаешь? У них, у китайцев, всё на мази, армия в смысле политической подготовки получше нашей. Я слышал, полковнички между собой по пьянке говорили, что трудовая-то она трудовая, а есть с десятков миллионов, готовых ко всему и не вылезавших с полигонов. Только у них в среднем один автомат на десять человек, так что кучность огня невелика, да и чисто механизированных соединений мало, но зато ясно, что лезть они будут до расплавки ствола, как выразился полковничек. И в Монголии наших ребят много, тут дело не только в китайцах, сами монголы были бы не прочь отколоться от нас, везде нужно держать ухо востро. А один старик сказал мне, что китайская армия напоминает ему нашу времен гражданской войны: политотделы ихние, мол, работают грубо и без просыпу — не знаю, правда ли

то или нет, но старик в Корейской войне участвовал, всякое видел. Я знаю, война — грязная работа, грязнее нет. Если так, то мы, русские, победим, — закончил с кривой, но убежденной улыбкой парень.

Все согласились. Не было возбуждения, не было иронии. Каждый по очереди рассказывал о виденном: кто видел китайские танки, кто патрули. В рассказах сквозило уважение к врагу и презрение к его оружию. Меня, новичка в армии, первогодка, поразило, что это говорили ребята, отдыхающие от устава в камерах и забывшие его на время заключения. Они говорили то, что они думают и чувствуют. Во мне же не было этой уверенности, ее нет и теперь, в меня въелась воинская привычка повиноваться и понимание, что воинский долг — не рецепт для изготовления пушечного мяса, а необходимый и нужный закон. И когда я говорю о тоталитарности армии, я добавляю, что каждая армия должна обладать своей специфической тоталитарностью. Во Франции, например, эта тоталитарность должна называться патриотизмом. Рокар захохотал:

— Патриотизм! Вы что, смеетесь? Вас высмеют, если вы произнесете у нас это слово.

Алексей нарушил свое молчание:

— У американцев оно есть, но это другое дело.

Рокар равнодушно произнес:

— Франция гниет, и гниет с головы.

Ночь углублялась в себя, когда мы с Алексеем вернулись в его жилище. Неприязнь к Рокару представлялась мне кислыми опивками вина, болтающимися в новеньком стерильном сосуде. Рокаровская пресыщенность пахла несостоятельностью суждений или попросту глубокой завистью ко всякому богатству.

Нина, злобясь, распахнула дверь, стала плевать руганью:

— Что, дерьмом пропах, а я отмывать должна, заливаешь морду в ресторанах, а Нина рассольчик да пивко на похмелье подносить должна?! Да?! Сволочь!

Алексей повел налитыми злобой глазами:

— Молчи, деревня! Стерва! Я тебя кормлю и пою, ты лежишь на мягком день-деньской и жиреешь. Жирей, тупей, если это еще возможно, только затыкайся при моем появлении.

Алексей не успел увернуться, и плевков, ловко посланный Нининым ртом, угодил ему в лоб. Алексей растер плевков на лице, махнул легкомысленно рукой:

— Пойдем, Святослав, оставим эту жирную бабу в покое. Учись, вот что происходит, когда интеллигентный человек решает пойти навстречу народу и женится на представительнице оного. Ошибка молодости, теперь поздно, бросишь — подохнет на улице: работать разучилась, жить никогда не умела. Слышишь, дрянь? Существой, перетаскивай живот с места на место и молчи. Если заткнешься, завтра сто рублей дам. А-а, видишь, Святослав, сразу заткнула фонтан!

Засевши в кухне, Алексей вытащил из холодильника початую бутылку, а через полчаса доктор филологических наук Мальцев, поблевав, уснул. По квартире, уснувшей, опрятной, шлялась, проникая во все щели, заражая воздух, гниль человеческих отношений. Мне стало тоскливо; высунув голову в окно, тускло взглянул на угадываемое небо; оно изредка пропускало звезды, капающие чем-то беспокойным, смутно тревожным. И хотелось спросить неспрашиваемое и угадать неугадываемое. Чтобы быть счастливым и человеком.

Лет восемь назад Алексей, молодой, покрытый прыщами парень с дипломом Ярославского пединсти-

туда в кармане и с небольшим количеством иллюзий в черепе, очутился в Москве. Картавил, трудно выговаривал мягкие русские слоги, был скромн и мил страшным усилием казаться простым. В аспирантуру влетел торжествующим голубем; с жилплощадью и пропиской оказалось труднее, пришлось жить на полулегальном положении, снимать комнату у одного медленно умирающего от рака горла рабочего. Рабочий занимал одну из трех комнат квартиры, в других ютились его два сына, жена и дочь. Все терпеливо ждали его смерти, он тоже иногда, по настроению, ждал своей кончины, хотя в общем чувствовал себя не так уж и плохо, хрипя сквозь вскрытое горло, в которое была вставлена питательная трубочка (читал себе день-дневской книжки да питался усиленно через трубочку водкой). Сыновья вели довольно безалаберную жизнь, работали, как говорится, «по иногда»; бывало, что по пьяному делу за чепуху попадали на малые сроки за решетку, а вообще были славными парнями, любили слова «помалу, помаленьку, так себе, ничего себе». О себе говорили: «мал золотник — да дорог», любили нового квартиранта за простоту, за щедрость. Дочь хотела замуж — и детей. Мать ждала, пока муж перестанет мучиться и освободит жилплощадь, а пока с надеждой переводила глаза с ученого квартиранта на дочь. Но Алексей предпочитал отца-рабочего, пил с ним, мелко потягивая, к превеликому его удовольствию, водку, растягивал разговоры о милом Алексееву сердцу сталинизме.

Круг московского бытия Алексея был узок: утром аспирантура, затем подрабатывание переводами, вечером разговоры с умирающим или шатание по шашлычным с его сыновьями. Неуклюжесть ног, растерянность пиджака на плечах и галстука на груди, ненавистные прыщи на лице делали жалким его стремление к женщине. И Алексей уходил от этого раздражающего желания к пренебрежению женским телом, к

водке и к привычному с детства онанизму. Так на фоне этого бытия и дребезжали годы Алексея, источалось время, отпущенное на аспирантуру. Причудливыми снами приходили к нему по ночам и похмельным утрам образы будущей стабильности.

В день пятидесятой годовщины Октябрьской революции, когда спешно пройдя положенный маршрут толпы с ликованием расходились, растворялись и превращались в личностей, желающих отдохнуть и выпить, помечтать и закусить, Алексей с младшим сыном умирающего рабочего пошли к знакомым встретить, как полагается, праздник. Уже с годик прошло, как старший сын под хмельком, балагурия после зарплаты, взвалил себе на спину, проходя мимо мебельного магазина, стол. Ему дали, как рецидивисту, пять лет. Сестра родила дочку, но не вышла замуж.

По пути младший брат, посмеиваясь, говорил Алексею:

— Всё-таки чудак мой старшой. Вы себе не представляете! Вы знаете, что он ляпнул на суде, когда ему дали последнее слово? Он спросил, что будет с его пиджаком, который он сдал в чистку незадолго до того, как его заграбастали. Он долго тянул бы кашу про какую-то квитанцию, если бы товарищ прокурор не посоветовал ему заткнуться, если, мол, подсудимый, конечно, не хочет добавки за оскорбление суда. Вот чудак!

— Кто? Прокурор? Это очевидно. А ваш брат Николай правильно поступил. Кстати, пиджак он спас? Спас! Вот видите, он с толком воспользовался последним словом. Ну, что вы хотели, чтобы он сказал? Что? Вот видите, не Николай, а прокурор чудак.

Младший брат Николая уставился на Алексея:

— Да, я об этом и не подумал. А что, ведь правда, что бы ни сказал тогда Колька, меньше ему бы все равно не дали. А вернется, вот и пиджак будет. Верно?

Молодые люди прошли мимо кинотеатра «Ударник», перешли мост и направились к нудно выстроившимся вдоль Москвы-реки краснокирпичным зданиям. Они были мрачны и неуютны. Стены были испачканы недоброкачественной старостью, сухой грязью и птичьим пометом. Этажи, по которым поднимались молодые люди, пахли пищей, жили отголосками веселья, набухавшего в квартирах-клетках, в длинных коридорах общих квартир. Только в общих кухнях продолжались обычные свары за овладение плиткой, конфоркой, местом, правом голоса.

Дверь открыла худошавая женщина в черном девическом платье, поздравила тихим голосом с праздником, впустила. Хозяйка квартиры-комнаты Катерина в желтом жакете и красной юбке обняла спутника Алексея, прижалась к нему пухленьким телом, и проводя вывороченными губами по его шее, озорно стрельнула глазами в сторону молодой женщины в девическом платье:

— Нина, чего ты? Познакомься с гражданином! Ее Ниной Ивановной зовут. А вас?

— Алексеем.

— А Алешкой можно?

— Можно.

— Ну вот и ладушки. Давайте за стол. Что принесли? Ого, коньяк! А лимоны где достали? И торт, вот это да!

Алексей смотрел на молчавшую Нину и чувствовал к ней растущую симпатию. У нее была закрученная коса. Это было мило. На плосковатом лице спокойно и убежденно существовали два серых глаза, курносому носу не хватало чепухи, чтобы стать утиным. Нина спросила:

— Вы, чай, учителем работаете? Или инженером?

— Нет, кончаю аспирантуру.

Младший сын умирающего рабочего, разливая по стаканам водку, с завистливой веселостью воскликнул:

— Что ты, Нина, Алексей не чета нам с тобой, он более семисот рубликов в месяц выколачивает. Умов палата, как выговаривал мой дед.

Прыщи на лице Алексея залились жаром:

— Перестаньте в самом деле, меня только и хватает на выколачивание этих, как вы выражаетесь, рубликов. Что же, давайте, Нина Ивановна, выпьем за знакомство и за праздник.

Выпила Нина, мило сморщилась, помахала ладошкой перед ртом. Последующие мгновенья удивили Алексея нежностью. Нежность цеплялась за обои, держалась в сердце, сидела в глазах. Он знал, что только владея Ниной он сможет почувствовать дыхание ночи. Алексей с усилием проглотил засорявшую рот жадную слюну желания.

Ели до отвращения к еде. Когда тени отступающего дня заиграли на столе с раздавленными хмельной рукой остатками торта, младший сын умирающего рабочего с Катей уже постанывали в любовной качке на диване. Алексей, свирепея от желания заставить тело слушаться страстных мыслей, раздевал Нину. Легли на раскладушку. Он гладил Нинины соски и ужасался своему бессилию. Раскладушка касалась одной стороной печки, и ее кафель больно холодил бок Алексея. Пришла ненависть к женщине, лежащей рядом, глядящей его ноги своими ногами — и ставшей ему недоступной. Только к утру нежной и неумелой Нине удалось заставить Алексея ее взять.

Нина была замужем. Муж, водитель грузовика, лежал в те дни в больнице с аппендицитом. Ко времени его выписки Алексей чувствовал себя победителем. Взрыв ревности мужа забросил Алексея на олимпийскую высоту. Он почувствовал себя полубогом. И женился.

Я все глядел в окно. Мысли, непохожие на воспоминания, прервались. Пошел, лег и провалился в беспокойную черноту. Из нее поутру меня вытащил свеженький Алексей. Вышагивая рядом с ним, глядел на Москву, освобождающуюся от белесого утреннего тумана. Кругом торопились люди. Кто перекусывал на ходу, кто ругался, залезая в переполненный автобус — на всех лежала тупая свежесть, которую обретает человек перед началом рабочего дня: движения легки, глаза полны бессмысленности. Ушла в небытие памяти родная жилплощадь, впереди же ничего, кроме привычки идти, а куда — то ноги знают.

Едва вошел в кабинет брата, как тот, закрыв дверь, выложил перед моим изумленным носом свое богатство — кипы газет. Тут были и «Фигаро», и «Орор», и «Монд»! Закрыв ставни, я углубился «с ушами» в эту, вдруг ставшую волею судьбы достигаемой, прессу.

Скакали, то приятно растягиваясь, то глупо сжимаясь, дни отпуска. До обеда впитывал, то соглашаясь, то споря, мысли и факты, написанные свободной французской рукой — и в меня медленно протискивалась уверенность, что рука эта не так уж свободна, как казалось. Кричим: железный занавес! железный занавес! И считаем, что за ним демократия гуляет на свободе. Тут что-то не так. А что — поеду туда — может, и узнаю. Слабое, нетленное слово, которое сильнее жизни, тверже кости. Свобода!

Я скрипнул зубами и пробормотал:

— Чёрт подери!

Вновь, как пот сквозь кожу, выступало тревожное раздражение.

После обеда гулял, навещал друзей, ставших знакомыми, — чужим чувствовал я себя среди них, чужим с приятным грузом виденного и понятого, чужим среди

них, путающих существование с жизнью, радость со счастьем, тоску с грустью. Они с желаниями в весе пера плыли по времени, данному им жизнью. Я всё чаще думал о Свежнев, сидящем на самом дне намертво с грузом своих справедливостей. А я... я ждал. Жду.

Всё же не обошлось без скандала. С Сергеем Бухаровым меня связывала десятилетняя дружба. Когда уходил в армию, Серега под яростным давлением матери готовился поступать в мединститут. Я за него был спокоен: его мать, Наталья Платоновна, была доцентом и преподавала химию в том самом институте, куда собирался поступить Серега. И вот в один из моих последних свободных вечеров в Алексееву дверь постучала Наталья Платоновна. О ней повсюду говорили хорошо, даже домработница с восхищением рассказывала, как Серегина мать сама ходит на базар пешком. Мне она тоже была по душе своей простотой, милым обращением, отсутствием назойливости.

Войдя в мою комнату, Наталья Платоновна взглянула на меня умоляюще:

— Прости, Святослав, это ты говорил Сереже об освобождении советскими войсками наших западных областей в 1939 году?

— Возможно, Наталья Платоновна, наверное, я не помню.

Она с грустной укоризной взмахнула руками:

— Зачем ты ему это говорил?! Ты ведь ему сказал, что никакого освобождения не было, что на самом деле Советский Союз объявил войну Польше, и так уже разгромленной фашистами.

Я не удержал улыбки:

— А разве это неправда, Наталья Платоновна?

— При чем здесь правда? Ты знаешь, что заявил Сережа? Что вся история — сплошная ложь, что он об этом заявит своему преподавателю. Что ты прав, раз ему отказались выдать в библиотеке «Правду» за

39 год. И что, наконец, он не может больше жить так, в этом мире лжи. Ты видишь, что натворил? Что мне теперь делать? Что? Я же в партии! И переубедить его теперь нельзя. Вот что ты сделал со своей правдой! Кому нужна правда, которая без всякой пользы делает зло. Исключат Сережу из института, если на своем стоять будет, никто ничего не сможет сделать. Даже я... тем более я.

Мне стало немного противно и очень жаль ее.

— Наталья Платоновна, я вас понимаю. Каюсь, не подумал...

Она обрадовалась:

— Да, вижу, ты поможешь. Вижу, ты взрослый.

Я серьезно ответил:

— Наверное... Только времени у меня нет зайти к вам, отпуск кончается. — Во мне вновь проснулась желчь. — Нужно же кому-то из взрослых защищать неприкосновенные границы нашей необъятной родины. Я ему письмо напишу. Вы подождите:

«Друг Серега, верная калоша!

Сей доброе и вечное, сей, да о ветре не забывай, о сорняках помни, и пусть равнодушные земли сидят в тебе памятью о человеке, который в тебе живет и которого могут сломать ни за грош, ни за копейку, а потому что — положено. Можешь послать к чёрту своего друга

Святослава Мальцева»

Простились мы с Натальей Платоновной с добротой на устах, с безразличием в сердце. Ненужная вещь — вероятно, подумали оба друг о друге. Только много позже узнал, что стала меня проклинать в своих ночах, желаниях мать Сереги, ибо через несколько месяцев исключили ее сына из института без права поступления, и стал ее сын ни то ни сё. Правда, он считал себя человеком. Может, и будет считать, если не сломают... согнуть будет уже невозможно.

Убегали, сквозняком прошмыгивали сквозь желание задержать время последние дни. Съездил, чтобы узнать свое детство, в Ярославль, где уезжающая мать оставила мне квартиру. Ничего не увидел, ничего не узнал, разве что по углам квартиры память собирала с горечью крохи материнской ласки. Встретил мимопроходящих женщин, с которыми обнимался до вспухших губ много тысяч дней тому назад. Двух привел к себе. Вспоминались кусты, деревья, страх перед сладкими от незнания руками, шарящими, делающими больно. Наутро осталась кислота, оскомины. Показались мне девушки детства половозрелыми насекомыми.

Вновь отъехал в Москву. Ел, отсыпался, слушал визгливую брань Нины, котящей на все лады род Мальцевых. Вечером шатался по городу. Мечтал ли о чем-то, покидая Москву? Может быть, но и непознанная мечта стала ненужной. Отсырело всё здесь, а кто мечтает о сырых валенках?

19

К обмундированию привык быстро, скованная воротником кителя шея стала менее подвижной уже в самолете. Теперь я не гнался за солнцем, а убегал от него. Я сидел в кресле чужой всему и всем; бубнили, засоряя уши, моторы за иллюминаторами. Пусто было повсюду. Капитан, когда я снимался с учета в военкомате, поглядев на отпускной лист, сказал:

— На Дальний? Молодец. Служи.

Сволочь. Всё же не совсем пусто, если есть место для злобы. Размяк на гражданке. Вредно влияет отпуск на психологию солдата; правы старые офицеры. И вдруг вспомнилось: китайцы. Никто не спросил о них... Кому дело, раз в газетах нет. Оно и правда, к чему? Последняя зима позади, через несколько дней

последняя весна, там — лето, а там и дембель шелкнет по носу... а там... а там, гляди, может, и отпустят во Францию, может, добьюсь, чтобы отпустили. Мать ведь шурует вовсю.

После розовеньких силуэтов парижских улиц, преобладающих где-то за чертой осязаемого мира, тупой реальностью влезли в глаза огоньки владивостокского аэропорта. Было холодно, дул дальневосточный ветер, по-старому, будто и не было отпуска, выматывающая душу. Верхняя пуговица шинели была расстегнута. В зале ожидания, через который проходил, патруль покосился на эту пуговицу, на разбухший вещмешок: значит, подарки везет в часть. Если угрюмая морда, то больно ему не сделаешь, а если ко всему расстегнутая шинель, то и брать его нечего, бессмысленно, потому что губа ему, послеотпускнику, не страшна; для него губа, часть — одни ворота — возвращение... пусть и топает...

Кончался короткий бледный субботний вечер, ночь бросалась грудью на небо. До Уссурийска меня дотащил доходяга-автобус. После Европы город казался уютной деревушкой: деревянные домики отгородились вдумчивыми сугробами, кое-где ставни с узорами и повсюду — не черный снег. Казармы, которых было больше, чем домиков, скрывались за высокими стенами, доступными только опытным самовольщикам. Было мирно и мило. До Покровки добрался на попутке. Здесь, перекрикивая собак, рывкали танковые моторы, шныряли грузовики, ходили патрули. Первый же встречный патруль, пустив светом в лицо, облапил меня со всех сторон:

— Вернулся! Здорово! Вернулся-таки, а мы думали, что уж не вернешься, говорили, что, мол, уехал во Францию эту!

Я освободился от трясущих меня рук:

— Кто болтал об этом?

— Да все. Да ты не бойся, ведь этому никто не поверил.

— И правильно сделали, что не поверили. Я, ребята, болгарские сигареты привез, небось, давненько не видали.

Ребята были из разведроты. Кто-то капал, кто-то им мозги крутил. Незачем спрашивать — зачем, и незачем спрашивать — кто. Они не знают, я знаю. Но не взять меня Рубинчику.

Вновь началась борьба за существование. Или она не прекращалась... не прекратится. В казарме готовились к отбою. Ребята встретили меня радостно, с искренней простотой. Мусамбегов, Быблев, Нефедов и другие. Кырыгл стоял в стороне. Я подошел, положил руку на плечо, спросил:

— Все злобишься? Не понял, почему получил тогда? Скажи честно. Через самолюбие скажи.

Он по-детски удивленно взглянул на меня. Помедлив, ответил:

— Понял.

— Если понял, то улыбнись.

Он улыбнулся так, как ум приказать не сумеет. Я вытащил из вещмешка губную гармошку:

— На. Твою же забрали ребята еще в карантине. Бери и становись в коридор. Отмечать мой приезд будем. Появится звезда, гаркнешь. Я тебе смену пришлю, Мусамбегова.

Кинув ребятам вещмешок, пошел к койке Свежнева. Он меня ждал.

— Что, задарил, сладкую пилюлю подсунул? Это ты умешь.

Мне стало обидно, грусть сделала веки тяжелыми. Заставил себя легко махнуть рукой, сказал, выдержав легкомысленный тон, первые несколько слов:

— Ладно тебе лаяться. Ведь парню приятно сделал, и заодно из врага друга изготовил... Послушай,

тебя на мякине не проведешь, а ведь и тебе кое-что привез. Возьми и прости, если в чем виноват.

Том Пастернака от Москвы грелся под моей шинелью у легкого. Коля принял его вытянутыми руками с широко раскрытыми глазами. Голос его жалобно дрогнул:

— Спа-асибо. Таких, как этот том, по всему Союзу только двадцать тысяч разбросано. Спасибо, Святослав. Как ты достал?

— Как? А так, что хочешь жить — умей вертеться.

— Сколько за него дал?

Не сказал, что украл его у Алексея. Сказал:

— Тридцать пять тех самых рубликов.

Свежнев поверил в меня. Солдат в отпуску, который вместо того, чтобы пропить тридцать пять рублей, покупает другу книгу, о которой тот мечтал, — настоящий друг, и другого тут быть не может. Да и хотелось ему поверить в меня.

По обычаю устроив стол из чемодана, положенного на койку прибывшего, все подняли кружки:

— За всё хорошее.

Ребята были веселы от моего приезда, разогнавшего бытовщину вечера. После второй бутылки Свежнев стал с нетерпением заглядывать себе подмышку, куда заключил Пастернака. Я кивнул головой:

— Валяй. Мы и без тебя допьем.

Рассказав ребятам о гражданке, о бабах, спросил Нефедова:

— А что за бардак в селе? Шуруют туды-сюды. Как от скуки.

— Да вот понимаешь, катавасия. Желтые, как ты уехал, резать-то в общем перестали, во всей дивизии не было ни одного случая: ни у фанеры, ни у минометчиков. Только ракетчики сразу поднялись и отбыли, а куда — так это Гречко знает. А с тех пор, если я хорошо понимаю, они скопом стали у границы бро-

дить. То у нас тревога, то у соседей. Пару противотанковых орудий к нам из дивизии пригнали. У многих муть на душе, вот на днях даже Быблев попробовал цветочного одеколона, кренделя выписывал по части, еле уберег его от дежурного. Ты как уехал, нам в отделенные назначили сержанта из хоззвода Петрищева, есть такой. Так он, не поверишь, фашистом оказался. Только не немецким, а нашим, русским. Говорил, что Ницше должен был родиться в России, что мы — лучший народ в мире. Дурак, да и только. Слушай, Святослав, а ты об этом Ницше слышал? Кто он такой?

— Философ. Немец. Его книг не достанешь. Он у нас запрещен.

Нефедов оторвался от кружки и взглянул на меня с удивлением:

— Разве у нас какие-то книги запрещены, вот не знал. И много есть запрещенных книг?

Я оглянулся. Свежнев, держа на весу раскрытую книгу, напряженно глядывался в нашу сторону. Я не мог не усмехнуться. Ответил:

— Не знаю. Может, и не запрещены. Может, мне показалось, что есть запрещенные книги. Ты лучше мне скажи, что стало с Петрищевым. Он громко говорил?

— Да. Громко и кому попало. И ничего, офицеры смеялись, даже Рубинчик, пожурив его только для виду, уходя, хлопнул по плечу и рассмеялся. А вообще, плохо было нам с Петрищевым.

Я быстрым взглядом оглядел, как и положено по уставу, каждого:

— Конечно! Распустились. Нефедову постричь ногти, Быблеву подшить свежий подворотничок, передать Кырыглу, чтобы простирнул гимнастерку. Об исполнении доложить. Ладно, давайте теперь допьем, скоро вечерняя поверка.

Для вечерней поверки со списком личного состава роты выплыл из своей каптерки старшина роты Миколайчук, разбухший от каши парень из-под Винницы. Он был хитер, неглуп. Вступил на втором году службы в партию, докладывал начальству ровно столько, чтобы не слететь со своей должности и чтобы не быть избитым стариками. Я с ним нашел общий язык: он меня не трогал, а я не мешал ему издеваться над салагами, которых он помучивал не из любви к издевательствам, а из самолюбия. Пьяный он часто хвастался, что рано или поздно станет председателем или, лучше того, парторгом в своем колхозе. Я ему верил.

Наступил мой первый после отпуска отбой. Я ворочался на койке, дожидаясь сна, грубые кальсоны вызвали щекочущую боль. Хотелось помечтать о редколесье Булонского леса, о легкости французских глаз, глазающих пригожим деньком на воды Луары. Не приходили мечты, хотелось женщины. Не хотелось войны и хотелось выжить. Хотелось выпить тяжелого напитка и закусить малосольным огурцом. Хотелось, чтобы отдельная группа звезд блестела для меня надеждой — этой скользкой сволочью.

20

Продрог рассвет. В помещение залезал, проскальзывая сквозь щели, холод, казарменный храп становился жалобным. Некоторые просыпались и проклинали кочегарку и Большегородскую в ней, обещали, делая попытки провалиться в сон, сделать с ней нечто невероятное этим же вечером. Когда в казарме тепло уходило к пяти градусам, салаги с тоской поглядывали на шинели, аккуратно висевшие одна к другой вдоль стены, с грустью закутывались в свои байковые одеяла, ворочали глазами, полными мягкой зависти, в сторону стариков, сладко сопящих под тяжестью

шинелей, накинутых поверх одеял. С ненавистью пенной косились на стариков, не накрывающихся шинелью: им можно, неписанный закон, а они, суки, не пользуются.

Утром, как бы соскучившись после отпуска, вышел на физзарядку. Колкий морозный ветер бодрил бегущее тело, врвался в открытый рот живительной силой. Я чувствовал себя мощным. После завтрака началась утренняя политинформация. Рота не была сонной, не ждала с нетерпением конца политзанятий. В ребятах чувствовалась подтянутость и серьезность. К доске была приколота китайская карта, которая китайскими цветами говорила о том, что Китаю принадлежит часть Сибири, Казахстана и много других советских земель. Начальник политотдела полка Драгаев просто говорил о китайских притязаниях. Китай! Китай! Китайцы! Одно это слово невольно оскорбляло слух, вызывало злобу. Рота волновалась, слышались слова:

— Гады. Чего мы ждем!

— А что, правда ведь, что нужна дисциплина!

— Правильно командир говорит, нужно готовиться. Их-то, косоглазых, много.

— Добраться бы до них!

Сосредоточенная злоба была внутренним зрением, она играла глазами. В глубине зверя, мечущегося в клетке, живет незыблемое спокойствие. Это звериное спокойствие чувствовалось вокруг, оно было в каждом солдате около меня. Оно было и во мне. Был ли это инстинкт, который получил название «патриотизма», или чувство коллективного самосохранения, во всяком случае, до обеда и после него яростно чистились и приводились в порядок орудия, автоматы и прочее. Не нужны были приказы, окрики. Курили молча, с теплотой в голосе помогали друг другу советами. Старики в кратчайшее, не поддающееся учету время, стали просто старшими товари-

щами. Самоволки прекратились. В послеобеденный перекур говорили о старшем поколении, о его войне. Все считали, что горький опыт не прошел даром. Теперь «шапками закидаем» — у китайцев, а оружие — у нас. О зарезанных на посту ребятах вспоминали уже как-то без жалости и трепета. Вспоминали, как вспоминают о солдатах, погибших в бою. Вечером в солдатском клубе смотрели фильм о битве на Курской дуге. Плохой, кровавый, он был полон ужасов, смерти и преодоления страха. Обычно надоевшее, истасканное слово Родина вдруг вспыхнуло, как вспыхивает достигаемая месть.

Только начали ждать, как проорали тревогу. Вся Покровка захрипела моторами, застучала тысячами сапог. Завертелась быстрее земля под ногами, время жизни ускорило шаг. Чумной кружившейся голове казалось — визжит от восторга, трясется в трансе подыхающая на день луна. А нам что? Радость? Горе?.. Кто разберет...

Уложились вовремя. Орудие за орудием стали выскакивать из парка и, отмахиваясь от снега гусеницами тягачей, заскользили к границе. Я сидел в кабине рядом с Быблевым, смотрел то на испуганный снег, бросающийся от тягача прочь, то на руки Быблева, передвигающие рычаги управления. Скоро шум моторов стал привычным слуху, настолько привычным, что слился с тишиной земли. Над головой, пачкая небо, прошли самолеты, по левую руку черными точками шла танковая колонна. По правую и прямо — было пусто, а дальше — граница и китайцы. В желудке пустовало не от голода. Спросил Быблева:

— Ты молился?

Быблев скосил на меня глаза. Не увидев улыбки, ответил:

— Да. Вчера вечером.

— Только за себя молился?

— Да. Только за себя. А что?

— Ничего, просто так.

Вытащив из кармана гимнастерки его крестик, протянул ему:

— На. Чёрт его знает, что будет. Вернемся — отдашь. И никому ни слова.

У Быблева соленая вода выступила, собралась в малую слезу в углах глаз. Он молча взял крестик. Я видел — каменные его скулы успокоились, желваки перестали быть видимыми. Он уходил в спокойствие креста, в то, что он сам называл — «нашей верой».

Обычные артиллерийские позиции полка были в семнадцати километрах от границы, орудиям было удобно бить навесом по китайским укрепленным линиям. На этот раз пересекли рубикон. Когда до границы осталось девять километров, я покрутил, как кот, потной головой. Выходило, что батареи будут бить в глубь китайской территории. Остановились батареи, укрывшись грядкой сопки. Окапывались до обеда, как могли. Удары кирок, ломов откалывали крупинки земли, будто сопротивлялась она, сопротивляясь, издевалась. Работая, я следил за Свежневым. Радостный в пути, он мрачно воспитывал волдыри на руках узорчатым ломом. Подошел к нему, сделал знак бросить лом, протянул папиросу. Сказал:

— Слушай, не балуйся нынче. Я знаю, что в тебе сидит. Ты — защитник родины, но не хочется тебе убивать мирных жителей. Тебе эти девять километров не понравились... Я был у связистов. Это не шутка, брось в сторону свои сопки и забудь о них. Не повторяй шуток прошлой стрельбы. Китайцы напали на наших у Нижне-Михайловска, всю заставу перебили. Говорят, ребята стояли, как должно. В двух-трех других местах перешли границу, ввели желтоглазые и артиллерию. Это, может быть, война! Ты понимаешь? Война. И ты — солдат. У меня ничего нет, кроме того, что я — солдат. Если у тебя, Колька, всё же

есть родина, то забудь обо всем остальном. Если родины нет, то будь, как и я, солдатом.

Свежнев не вздрогнул, как я ожидал, при слове война. Отвечая, спокойно ломал лед в ноздрах, вытаскивая его пальцами:

— Я русский, я часть земли, я, как издревле говорили, камень у основания очага. И я никого не пущу к себе. Пускали — хватит. Не может того быть, чтобы русская кровь за последние полвека ушла бесследно в землю. Мы сами разберемся, но не пустим к себе никого: ни китайцев, ни американцев. Как бы ты ни хотел пустить американцев, я не дам. Я лучше тебя пристрелю. Так что успокойся. Буду стрелять, лес рубят — щепки летят.

Удовлетворенный, я отошел. В единственную палатку батареи набивалось по двадцать с лишним человек, что, в общем, было терпимо. Обогревались, вновь выходили на мороз, зажмурив от муки глаза, к лому, кирке. Когда сопки начали отбрасывать тупые тени, раздался отвратительный вой снарядов. Кто догадался, рухнул на землю, не чувствуя ничего, кроме страха, некоторые стоя недоуменно задирали головы. Земля вздрагивала, будто чесалась. Минут через двадцать я почувствовал, что начинаю привыкать к сосущему ощущению в желудке, к слабости тела, льнущего к земле. Китайцы били с недолетом. Только два или три снаряда ударили в ближайшие сопки, заставив мое сердце подняться к горлу и застрять в нем, потом медленно пробираться, щекоча встречные нервы, назад. С полковничьей машины пришел приказ не открывать огня. Как только обстрел прекратился, я, подняв голову, увидел возившегося у затвора Мусамбегова. Он пытался вогнать в ствол снаряд. Я заорал Нефедову, показывая рукой на Мусамбегова:

— Задержи его! Не было приказа! Задержи!

Нефедов поспел, снаряд был тяжел. Нефедов схватил Мусамбегова в охапку и сразу же отпустил.

От парня разило калом. Оказалось, комочек земли ударил слегка Мусамбегова в спину, но ему показалось, что это осколок. Когда убедился, что не ранен, он воспыал яростью и решил отомстить за свой страх.

Никто не пострадал. К ночи прошли слухи о шпионах. Воздушной разведки не было, мы же не стреляли. Китайцы смогли получить координаты только от жителей близлежащей деревеньки. Говорили, что там жили остатки крымских татар. Мои латыши и хохлы стали коситься с явной свирепостью на Мусамбегова и Кырыгла. За них заступился Нефедов. Свежнев смотрел и молчал, будто происходящее его не касалось. Ярость против, быть может, воображаемых предателей-наблюдателей из деревни всё поднималась, облекалась плотью. Среди ночи человек двадцать двинулись к деревне. Кто-то предупредил комбата. Руганью и выстрелами в воздух он заставил ребят вернуться. Это были в основном старики, которые не хотели умирать перед дембелем. Комбату удалось матом им объяснить, что с каждым шагом к деревне они приближаются к расстрелу.

К утру тихо снялись с занимаемых позиций. Прошли по параллели километров пять. Стали. Пять суток закапывались. Пять суток мерзли. Пять суток молчали. Через пять суток, так ни разу и не выстрелив, вернулись в часть. Только в артиллерийском парке, когда ставили орудия, погиб человек. Парень не из моей батареи, белокурый маленький латыш, худенький салага. Тягач разворачивался, чтобы втянуть орудие на положенный ему квадрат земли. И видимо, резко потянул, к тому же одно колесо орудия попало в свежевырытую колдобинку. Орудие накренилось, ржавые скрепки лопнули, ствол оторвался от верхнего станка с люлькой, — оторвался и покатился прямо на парня, который бессильно опустил руки по швам и с жадным любопытством уставился

на двухтонную, не торопясь подскакивающую, трубу. Ствол наступил парню на кончики пальцев ног, подпрыгнул, раздробил ему голову и покатился дальше. Парень успел бы отскочить, просто отойти мог, времени бы хватило. Не захотел, — страшное сковывающее любопытство было сильнее. Ствол за что-то зацепился, покрутился, застыл.

«Если резьба не повреждена, — подумал я, — наложат новые скобы и вновь будет орудие».

Комбат накинул на тело парня брезент, попросил ближайших ребят помочь ему поднести парня до медпункта. Никто не отозвался, кроме Свежнева. Они несли тело медленно, шагая в ногу.

В тот вечер мне хотелось метели, но небо было чисто, ветер без пользы пытался то ли разогнать ночь, то ли сгустить ее тучевыми пятнами. Многие почувствовали в себе подобное в ту ночь: кто во сне, кто наяву с широко открытыми глазами.

Утром, после завтрака, нас погнали на плац. Штамповали шаги дольше обычного. Видимо, хотели выбить горькую оскомину, оставшуюся после происшествия. После часа ходьбы строевым шагом мысли становились все короче, обрывались. Сапоги стучали, сильно ходили руки вдоль тела, как говорит и требует строевой устав. Круче обрывались мысли. Их перебивали слова, громкие, упорные: ать-два-три, ать-два-три! Ать-два-...три! Совсем уходили мысли; что оставалось, повторяло про себя: ать-два, ать-два, ать-два и три!

На занятия по политподготовке пришел Рубинчик. Он говорил о защите родины, о том, что раздавленный вчера рядовой Рудзута погиб не даром, что о нем будут помнить, что мы все поклянемся на его могиле быть лучше, дисциплинированнее, настоящими защитниками необъятных границ Союза Советских Социалистических Республик. Наступившую паузу наполнил нервным голосом Свежнев. Он говорил, что

раздавленный Рудзута погиб совершенно даром, что подобная смерть никого не может вдохновить, что мы и так являемся защитниками родины, за которую готовы бороться насмерть против любого врага; что если и нужно в чем-либо клясться на могиле Рудзуты, то в том, чтобы больше в полку не было ржавых скоб.

Свежнев закончил, и Рубинчик вышел. Все машинально встали, когда парторг открыл дверь, все сели, когда дверь закрылась. Никто не удивлялся, не огорчался. Все молчали, только кто-то из задних рядов выразил общее желание:

— Покурить охота!

Часам к трем в артпарк пришел комбат.

— Мальцев, пойдешь сегодня в наряд на кухню. Собери свой расчет и вали готовиться... Да, ты там скажи Свежневу... Скажи... Ты сам знаешь, о чем.

21

Кухню-столовую от казарм отличали двустворчатые широкие и высокие двери-ворота и задние пристройки. Солдаты называли кухню-столовую насмешливо-серьезно «хлев», ибо солдат не ест, не кушает, а принимает пищу. Он, забыв все остальные синонимы, говорит совершенно серьезно:

— Ладно, время уж. Пойдем-ка принимать пищу.

Я распределял: трое пойдут в зал (столовую), двое — к поварам, один — истопником, двое — в музыкальный цех (посудомойку); на чистку картошки собрать штрафников в роте. Предупреждать, чтоб не ходили в самоволку, пожалуй, не стоит — знают, что им век не расхлебать ее: нарядов на работу будет больше, чем сил. В общем, всё в порядке. Я вновь становился дежурным по кухне, превращался по сути дела из командира в начальника и руководил един-

ственным местом части, где устав перебивался запахом бытовой свободы, где законом за столом было старшинство. Распределение по местам шло по жребию, кроме Свежнева и Нефедова: первый шел истопником, второй — главным в столовую. Быблев не выбирал, хотя и был фазаном: он считал несправедливостью пользоваться положением, вероятно, это ему диктовала, против здравого смысла, вера в справедливость и равенство, данная ему религией.

Главной заботой дежурного по кухне было не столько наблюдение за работой кухонного наряда, сколько попытка не впускать в столовую одиночек — просто брезгающих дисциплиной строя и проникающих в зал минут за десять до обеда, ужина и, особенно, завтрака за поживой в виде сахара, масла, белого хлеба, ослепительно-заманчиво лежащих на столах. Тараканами влезали они в зал через задние пристройки, через посудомойку, через поварской зал, мимо парных котлов, в которых шевелилась клейкая масса пищи, к окошкам раздачи. Через них они протискивались в зал. Приходилось бегать от окошка к окошку и бить по жадным лицам. Только почувствовав вкус собственной крови, «хищники» (как их называли на кухне) отступали, беззлобно ругаясь. В основном, это были старики, не получавшие от родителей денежных переводов, посылок. К концу службы от бескалорийной пищи портился желудок, мучила постоянная изжога, не дававшая спать. Иногда, сговорившись между собой после отпора дежурного по кухне, они, перегруппировавшись, меняли тактику — влезали во все окошки разом. Тогда оставалось, убрав кулаки, орать, угрожать губой, мстью других стариков. Первая угроза смешила, вторая действовала. Старик, берущий со стола хлеб и масло украдкой — плохой старик, позорящий весь третий год службы части. Если от него отступятся остальные — он станет с их легкой руки посмешищем молодежи или, того

хуже, козлом отпущения, на котором салаги выместят всю злобу, накопившуюся на стариков. Зная это, старики-хищники притихали и «культурно» брали с каждого стола по одному кусочку сахара, по одной дольке масла. Чаще всего всё шло тихо-мирно. Однажды, когда я был дежурным по кухне, случилась неприятность. Когда старики-хищники завоевывали столы, в столовой был дежурный по части новоиспеченный капитан. Он с глазами, вырывающимися из орбит, смотрел на невиданное им — на мародерство на глазах у самого дежурного по части. После дико-грозных окриков, воплей, он, потеряв голос, выхватил свой пистолет. Я спокойно стоял, ждал с презрительной улыбкой сытого человека, пока старики-хищники распределяют добычу. Видимо, дежурный по части заметил мою улыбку. Я вдруг почувствовал, как дуло пистолета стало больно проталкиваться в мою ушную раковину. Скопив глаза, увидел перекошенное лицо офицера: в его глазах было всё, кроме здравого смысла. Я хотел рвануться, но услышал шёпот, влезший в свободное ухо из окошка, к которому был прислонен:

— Тихо, не шевелись. Я видел, он загнал в ствол патрон, снял пушку с предохранителя. Стой. Не шевелись.

Тяжелая слабость овладела ногами, во рту стало пустынно-сухо, к глазам метнулось видение смерти, смахивающее на мой мозг в прожилочках, валяющийся на жирном полу столовой. Офицер все дергал пистолетом, царапал ухо, безумно приговаривая:

— Сволочь, контра, сволочь, контра, сволочь, контра...

Я постарался извлечь из горла звуки; благо, не нужно было стараться сгустить их жалобной нотой:

— Товарищ капитан, поймите, я...

Он зашипел:

— Молчать!

Потом заорал:

— Молчать!!! Под трибунал пойдешь!

Только тут я понял, что спасся, что он пришел в себя.

Через полминуты капитан как-то по-детски огляделся, начал рассматривать свой пистолет, мое ухо. Затем с удивлением поставил пистолет на предохранитель и привычно засунул его в кобуру. По его лицу заструился пот. Он еще раз огляделся, на этот раз со стыдом, и вышел. Как только двери-ворота закрылись за ним, я сел на пол. Меня поздравляли, хлопали по плечу, смотрели с уважением. Голос из окошка оказался голосом Свежнева. Он был бледен, сказал, обняв меня за шею:

— Сначала думал, что хана тебе, а после, когда предупредил, показалось, что он услышал, что он прямо через окошко меня достанет. Ну и тип.

Окаменевшие возле столов старики-хищники зашевелились, забегали, юркнули за двери-ворота. Мне уже тогда показалось, что капитан, пожалуй, староват для капитана. Предупредил ребят, чтоб держали язык за зубами: если капитану не поздоровится, то и нас по головке не погладят. Капитан оценил мое молчание. Мы с ним познакомились. Он мне за бутылкой рассказал свою историю.

В пятьдесят шестом году он был в Будапеште. Ему тогда стукнуло девятнадцать лет. Невнятное чувство злобы появилось уже, когда эшелоны шли к Венгрии. Он слышал жителей, швыряющих оскорбления, прославляющих освобождающую их и их страну Венгерскую революцию. Они ненавидели и его, не желающего никому ничего плохого, его, сидящего в эшелоне и приближающегося к Будапешту, потому что так приказала страна, партия. Его сделала лейтенантом страна и партия, они дали ему закончить школу, направили в военное училище. Если эти люди против него, значит, против его страны, против партии.

Значит они — его враги, которым он не хочет ничего плохого. В первый же день прибытия полк бросили в уличный бой. Его орудие тут же разбили гранатой из окна. Русских, когда брали в плен, иногда расстреливали на месте, иногда, забрав оружие, отпускали; чаще всего собирали и отводили в тыл, хотя никто не знал, где он может быть, этот тыл. К концу дня молодой лейтенант взбесился. Одного парня из его отделения убили женщины, швырнув из окна на его голову зеркальный шкаф, другого зарезал молоденький парнишка в уборной одного из домов. Кровавые видения затуманили глаза лейтенанта. Вид своего солдата в уборной, его спущенные галифе, голые белые ноги, умоляющее выражение мертвого лица и большой кухонный нож, торчащий в его животе — всё заставило его, как выразился капитан в своем рассказе, встать по ту сторону добра и зла. Он приказал жестами пойманному венгерскому парнишке открыть рот и выстрелил туда. Лейтенанта подобрали тяжелораненым на второй день. Оказалось (сам он не помнил), что он очень много стрелял — и всё время в рот. Вероятно, он перестарался, так как попал в список, исключаящий повышение. Только долгие годы службы давали медленно капающие на его погоны звездочки.

Он мне рассказывал, а я чувствовал, как гусиная кожа охватывает все тело. Его обстоятельное извинение привело к тому, что одно его появление бросало краску на мои уши, заставляло мозг беспомощно держаться в танце страха. Злополучный капитан служил во взводе связи, и я встречал его редко. Затем узнал, что он ударил кого-то прикладом и что его куда-то перевели.

Каждый раз, попадая дежурным по кухне, вспоминал капитана и его пистолет, поэтому особенно не любил стариков-хищников, поэтому бил по лицам

сильнее, чем следовало, поэтому был одним из лучших дежурных по кухне.

Ужин прошел спокойно. Старики-хищники вели себя пристойно, бачки пищи распределялись нормально, кое-кому досталось добавки прозрачной жидкости, называемой компотом, потому что в ней была глюкоза.

Столовая опустела, наряд принялся за работу со рвением, стремясь закончить ее до полуночи. Сушеного картофеля в эту зиму было мало. Этому радовались все, кроме наряда. Полусгнившая картошка из трехсот килограммов после чистки превращалась в сто, бывало и меньше. В супе иногда плавал кусок, иногда — нет. Но если он попадался, то таял во рту и был дороже несъедобной сушеной картошки, которой давали вдоволь, хоть подавись, и которая почти полностью оставалась в мисках. Но наряду чистить картошку было мұкой: трудно было тупыми ножами снимать тонкую кожуру и точно вырезать гниль. Да никто и не пытался. Никто не думал, что выйдя из наряда по кухне и возвратившись в казарму, будет проклинать следующий нерадивый наряд, который по лености дает ему кусочек, когда может дать два. Так велось. Всё забывалось. Топчась на месте, память знала, что прошлое возвращается.

Картофель ждал. Нужны были руки. Заставлять работать свое отделение до глубокой ночи было неразумно. Надо было идти в казарму, найти салаг, получивших наряды на работу вне очереди, и если таких не было, то придумать. Пошел к старшине роты. У него было трое проштрафившихся, мне же нужно было хоть восемь человек. Старшина кивнул мне и прошелся по казарме. Один салага сидел на кровати, другому старшина сумел просунуть ладонь под бляху пояса, у третьего были пыльные сапоги (или не были, но это не имело значения). Остальным старшина просто и коротко посоветовал присоеди-

ниться к товарищам, вероятно, в счет будущих неловкостей. С недовольными лицами салаги построились и под моей командой направились к кухне. В сущности, они были рады этой работе, вернее, они стали рады, как только приступили к ней, ибо деваться уже было некуда, а работа на кухне означала еду вдоволь: можно было даже найти и пожарить, с разрешения дежурного по кухне, мясо, можно было, если дежурный знал, что среди них нет стукача, с его же разрешения устроить пьянку, привести девицу. Одним словом, можно было, пожертвовав сном и отдыхом, наброситься на одно из удовольствий, возведенных в армии в ранг реализующихся по временам мечтаний. Позабыв о лени и недовольстве, салаги, весело поговаривая о еще свежей в мыслях гражданке, принялись кромсать направо и налево картофель, попросив меня сказать истопнику, чтобы растапливал печь: поскольку кухня работала на пару, печь истопника была единственным местом части, где можно было поджарить мясо, хлеб.

Я пошел к Свежневу. Он лежал на топчане и глотал Пастернака. Помещение было узким, прокопченным насквозь, блеклый свет тихой лампочки создавал суровые тени. Широко открытые глаза Свежнева не моргнули при звуках моего голоса. На мгновение он показался мне безумцем, потом — счарованным мечтателем, оторвавшимся от того безумия, которое называл обыденностью. Я тряхнул топчан ногой:

— Проснись. Ты еще существуешь, вернись в тело твое да затопи печь добрым людям. Ждут они Прометеева огня. Ты уж постарайся.

Моя ирония, оторвавшись от меня и его не достигнув, замерла над нами фальшивой нотой. Свежнев протянул мне кружку, затем бутылку вина.

— Выпей. И послушай:

«Мело, мело по всей земле во все пределы,
Свеча горела на столе, свеча горела...»

Вино было тяжелым, невкусным, отдавало краской. Крепостью градусов в семнадцать. Хотя этикетки на бутылке не было, отметил:

— Кагор!

Свежнев всё читал. Я мысленно качал головой, избавляясь от наваждения, от желания забыться и отдаться этим звукам, их смыслу, живущему во мне. Я громко повторил:

— Кагор!

Он не ответил, пока не дочитал до конца, пока не взглянул на меня с жалостью:

— Чего тебе? Заладил... Сам знаю, что кагор.

— Печь затопи. Салаги хотят после работы вкусить мяса.

— Я не обязан.

— Знаю, что не обязан.

Свежнев затопил. Вытащив из затрещавшего огня щепку, прикурил от нее. Его голову покрывали короткие рыжие волосы, на лице, возле чуть курносого широкого носа, были заметны бледные веснушки, зимние. Он был грустен, казался беспомощным. Тень же его на закопченной стене была суровой.

Я вдруг помимо воли охватил его за плечи, потряс:

— Послушай, Коля, будь серьезным, будь мужчиной. Подумай о себе. Погибнешь, я ведь тебе уже говорил. Теперь повторяю. Буду повторять, пока не поймешь. Поймешь, что ты просто, сам того не зная, выбрал самое подходящее время для самоубийства. На гражданке, где были радости, где не была так обнажена жизнь, ты надеялся, чего-то ждал, думал, что борешься, ткал нити рассуждений, считая, что они превратятся в один прекрасный день в мощную сеть, которой накроешь с концами произвол. Ты утешался тем, что слова, не превратившиеся в дела, всё же не теряют своего смысла. Здесь же ты увидел и понял, что сами слова не имеют смысла, не только их слова,

но и твои собственные, ты увидел безысходность в себе, в которую не можешь поверить. На тебя свалилась вся слепота твоего патриотизма и ты ощутил, как мысли глупо и нудно, — как лозунги, которые презираешь, — цепляются за твою душу и выжимают из нее слово «родина». Ты понял свое бессилие. Ты говоришь о китайских завоевателях, ты стараешься верить в них, но ведь только недавно, если не ошибаюсь, орал, что непустишь американцев. Ты ведь знал, почему орешь, юродствуешь. Мы вчера еще палили по китайцам, но даже в перерывах стрельбы, на политинформации, ругая китайских предателей, их называли слугами американского империализма. Все разговоры, все политические беседы начинаются китайцами и кончаются американцами. Ты ведь орал, потому что знал: главный враг — Америка. Та Америка, которая одна может через войну, грязь унижения, смерть принести свободу вам всем, тебе. И ты ее за это ненавидишь, как ненавидят человека, который несет тебе благо не для блага, но из корысти. И это для тебя невыносимо. Ты конченный человек. Будешь им, если не одумаешься.

Свежнев молчал. Затем выдавил сквозь сжатые губы:

— Врешь! Ты — сволочь. Ты готов всё продать для цели. Чтобы добраться до нее. Всё! Ты готов за око — ослепить человека. Сам ты рассчитываешь вылезти чистеньким, жить в Париже и с удовольствием вспоминать Дальний Восток как бурную молодость. У тебя никогда не было чести, Мальцев, никогда. Свобода не может быть грязной. И пока еще существует понимание страдания — мы будем, будет чистота и надежда. И мы никого не пустим. Рубинчик просто хитрая и тупая сволочь. Ты же — предатель. Ты прячешься здесь за уставом. На гражданке — за законом.

Он говорил спокойно. Я равнодушно слушал. Грязь. Чистота. Непонятные слова. Казалось, их туманность вызывает все крики всех пророков всех времен. Нетленные слова, как бы останавливавшие время, слова, звучащие всегда незнакомо, — будто их выговариваешь на наречии, которое плохо знаешь, — и потому приобретающие особую глубину. Зачем он все это говорит? От страха, который называется отчаянием? Свежнев не парализован всеобщей глупостью. Он просто не знает, что правда, которая далека от понимания человека, кажется ложью. Свежнев остановился, закрыл глаза, спросил:

— Хочешь вина?

— Давай. А то идти надо. Скажу ребятам, что печь накалилась. И Быблеву я на всякий случай скажу, чтоб помолился за тебя.

Свежнев промолчал.

Салаги кончали чистить картофель. Ящик в углу овощного цеха был передвинут. Видимо, его старались, приспособив для чего-то, поставить в первоначальное положение. Салаги настороженно следили за моими движениями шевелившимися яблоками глаз на неподвижных лицах. Под ящиком было две бутылки спирта. Оглядевшись, заметил, что в помещении нет одного салаги. Сказал ровным голосом, за которым в подобных обстоятельствах видят угрозу:

— Так... Куда это он отправился? Молчите? Вы что, хотите старика вокруг пальца обвести? Не отправился ли салага в кочегарку за Большегородской? Ась? Ладно, даю вам времени до двух часов, не дольше.

Лица парней просветлели, налились жадностью, стремлением к женскому телу.

— А пока ваша красавица не притащилась, налейте-ка командиру кружечку.

Потягивал крошечными глоточками влагу, мгновенно засыхающую на губах, пожаром проходящую горло, тихим туманом добрящую голову. Запихивал

после каждого третьего глотка в рот пучок вонючей капусты — лучшую закуску в здешнем мире. Салаги с яростной целеустремленностью кромсали остатки недочищенного картофеля, когда Большегородская протиснула в дверь свое костлявое тело. Воскликнула, глядя на спирт тусклыми зрачками:

— Святослав, и ты здесь! Захотел-таки меня попробовать?

Поставив бутылку возле сапога, ответил:

— Очень. На, пей, лакай.

Валентина подошла к бутылке, стремительно нагнулась. Когда она оказалась передо мной едва ли не на четвереньках, я невольно подчинился желанию унижить окружающих меня людей — толкнул сапогом в плечо Большегородскую. Она растянулась на полу. Не поднимаясь, Большегородская ухмыльнулась мне в лицо:

— Не хочешь меня, значит. Гордый какой. Подумаешь!..

Она расстегнула галифе и показала костистый зад. Это было явным признаком пренебрежения. Выходя из овощного цеха, я сказал нетерпеливым салагам:

— Залейте хоть сначала харю, а то пол заблюете. Да не все разом.

Салаги не слышали, всё их внимание было приковано к Валентине, схватившей бутылку. Они смотрели сладострастно. Салаги были во власти заменителя счастья — воображения.

Мне было мутно, мир был мутен. Вновь и вновь хотелось выжить и остаться человеком. Пошел в посудомойку к Быблеву (его напарник был в овощном цехе). Миски, хлебные тарелки, кружки и ложки были уже очищены от пищи прошедшего ужина. Быблев полулежал на лавке, у живота задумчиво вертелись пальцы.

— О чем ты?

Пухлое тело Быблева беспокойно зашевелилось:
— О Рудзуте. Я его немного знал. Он был хорошим, никому не желал зла. Именно на него покатылся ствол. Почему — я знаю: то была воля Божья. А вот зачем — не знаю.

— Нет различия между «почему» и «зачем».

— Для тебя нет, для меня есть. Можно примириться с Его волей, труднее примириться с непониманием ее. Невозможно. Трудно мне; сомневаясь — грешу.

Мне захотелось отвлечь Быблева. Стало совсем не по себе: Свежнев мучается, сомневается, и этот туда же — тоже мучается, сомневается.

— Ты походи лучше в овощной цех, чем тут себе мукой сердце тешить. Там Большегородская. Салаги там не сомневаются.

Грусть и любовь были в глазах Быблева:

— Нет, не пойду, меня дома невеста ждет. Я люблю ее. А салага есть салага, он зверек еще. Засомневается. Непременно засомневается. Даже если никогда и не поймет этого. Человек не может не сомневаться.

Я искренне сказал Быблеву:

— А-а-а, иди-ка ты к чёрту!

Проходя мимо овощного цеха, заглянул, сплюнул. И словно очищенный виденным, пошел к воздуху и небу над головой. Морозный ветерок втягивался жидкостью в легкие. Вверху тучно вспыхивали звезды, с нежностью нелюдской терлись они о вселенную. Я сидел на ледяной земле и, чувствуя, как тает в груди ветер, приговаривал:

— Американцы, китайцы, жизнь и смерть, сомнения, свобода. К чёрту, к чёрту, к чёрту и к чёрту... Послать бы себя туда же... Хоть бы поближе.

Вернулся в овощной цех. Молча выпил кружку спирта, выругался долго и грязно. Подождал, пока очередной салага не откинулся от стоящей на четве-

ренках Валентины Большегородской. Сказал ей:

— Подойди. Вы все выйдите.

Все вышли. Большегородская не шевельнулась.

— Валяй, стерва.

Она потрясла лысеющей головой:

— Не, я боюсь. Ударись.

Я постарался размять лицо руками. Ничего не вышло, лицо было жестким, как зубы:

— Не ударю.

Валентина Большегородская подошла и сделала все, что полагалось, и я не ударил.

Я лежал на замерзшем снегу. Время перевалило за середину ночи. Лежал и знал, что простудиться мне не дано, не дано полежать в горячке. Салаги спали, спал Свежнев, спала в своей кочегарке Большегородская. О Быблеве вообще не хотелось вспоминать. Не было во мне воображения — заменителя счастья, не было...

22

Две бани остались позади, двумя банями стало меньше до дембеля, когда пушисто-снежным днем заиграли тревогу. Привычно и гордо, как в учебниках идет на страду крестьянин, пошли солдаты к своей работе. Щедро раздали всем сухой паек и боезапас. Всем казалось, что уж обстреляны они, что нет для них робости. Лихо срывались с места тягачи, грозно задирали хоботы орудия. И за ними заметал снег следы грозного войска.

Кто мог, втихомолочку от офицеров разворачивал связь, ловил сведенья. Пришла весть: косоглазые пё-решли во множестве государственную границу СССР. Переглянулись, забыли о снеге, о езде. Старались

что-то очень важное припомнить, никак не припоминалось. Пытались шутить, получалось будто смеешься на кладбище. Остановились, распряглись в пяти километрах от границы. Приказали всем орудиям: дальность — четыре километра.

Свежнев вертел ручки связи. С дежурства по кухне говорили мы с ним только по делам службы, вновь пробежал между нами черный кот. Свежнев прислушался, дернул меня за рукав:

— Идут. Пьяные. Их тысячи три. Два танка. Машут карабинами. Слышишь, наши ПТУРСы ведут.

Свежнев поднял на меня глаза, прохрипел:

— Они что, самоубийцы?

Ему ответил Нефедов:

— Трупы они, мертвецы, как один. Они идут, в кучу сбившись. Один снаряд ПТУРСа выжигает всё на двух гектарах.

Нефедов довольно улыбнулся и со спелой раздельностью повторил:

— Мертвецы они.

Секунды не превращались в минуты. От тишины необыкновенной страдали мышцы, гулким звоном колокольно качалась голова. Как известие о рождении сына, приняли солдаты приказ открыть огонь. Уходили полные хаоса думы, уходили навсегда, стирались из памяти. Оставались руки, нагруженные желанием стрелять, подспудным стремлением выстрелить в них, косоглазых, своей робостью, страхом, своей жадной жить. И как было всегда, тело отвечало, повинаясь инстинкту: чтобы не быть убитым, нужно убивать.

После первых выстрелов зашатались облака, поплыли пьяными в сторону. То дрожала земля от гула нескольких сот орудий, которые, подобно нашим, были замаскированы траншеями, спрятаны за сопки. Я чувствовал, как из горла выпирают, рвутся звуки восторга. Я был частью этой мощи, этого огня, не-

сущего им всем смерть. Мы все были ею. На востоке раздавались (или только казалось) хлопки разрывов реактивных снарядов. Это мгновение, расположившееся на циферблате часов двадцатью минутами, я, Нефедов, Чичко, комбат — все мы были богами. Был принят приказ о передышке огня. Все сели: кто на землю, кто на станины. В глазах рябило, руки всё еще тянулись что-то схватить, рвать. Земля всё не становилась плоской, мы — смертными. Из будки-штаба выскочил пружинисто комбат:

— Группа прорвалась в нашу сторону! Приготовиться к бою! Пулеметы на фланги!

Стало неуютно-странно: какие пулеметы? Затем голос внутри тел хрестоматийно торжественно завопил: пулеметы!

Тонкий всепроникающий визг реактивного снаряда никого не потряс, никого не принудил пригнуться. В двух-трех километрах (судя по слуху) начала расплавляться почва с ходившими по ней людьми. Свежнев не отходил от своего места, поправляя прицел. Нагнувшись к связи, повертел ручку, нашел голос. Выпрямился, сказал, монотонно сгущая слова:

— Всё. Всем амба. Пожгли всех.

Будка комбата поехала, видимо, к штабу полка. Вслед за ним скрылся за ближайшей сопкой тягач с лейтенантом Чичко и тремя другими (позабыл их имена) старшими и младшими лейтенантами. Нефедов, будоража воздух, зашептал:

— Святослав, махнем? Страна очистилась от начальства. Давай махнем, на врага посмотрим. Тут близко, за полчаса управимся.

Риск был небольшой, можно было всегда отделаться «разведкой» или же сказать, что на сопке был замечен силуэт человека. И хотелось ограбить их, мертвых, хоть взглядом, брошенным на их трупы. В этом чувствовалась законная слава. Быблев мялся, но и в его глазах лучезарилось любопытство. Тягач

Быблева круто развернулся, лязгая гусеницами. Превращая иссиня белый снег в мягкого тона пыльцу, тронулся. Пальцы Свежнева вцепились в жгучий железом кузов. Перебросив свое тело в кузов, Свежнев сказал:

— Я с вами.

Снег, пустые, подметаемые воздухом зимы сопочки, снова снег. И палец на курке, и руки, беспрерывно проверяющие, действительно ли загнан патрон в патронник, действительно ли автомат снят с предохранителя. И однообразие шума мотора, и шум крови, плывущей из желудочка в предсердие. И шумящее отсутствие мысли.

Запахло серой и едва уловимым духом горелости. Спрятавшись за сопку, Быблев остановил мотор. Спокойствия не стало, шумела тишина. Вскарabкались на щербатую сопку. Вершина холодила ноги, голова горела, то ли в стремлении жить, то ли в стремлении убивать. Выглянули.

Там, у подошвы, были старые, как прах земли, камни. Их было несколько, ребристых, будто скатившихся, будто Сизифовых, будто говорящих о бессильности усилий всего сущего. Возле них и несколько подалеке были густо разбросаны на растопленном снегу смуглые от огня трупы. В образовавшейся грязи они казались разгромленным кукольным театром. На многих лицах, обращенных к холодному солнцу, лежало выражение добродушия, только считанные китайцы успели придать своим лицам перед смертью выражение боли.

Детскими движениями тянули мы друг друга за рукава. Мои глаза, оторвавшись от трупов, вернулись к Сизифовым камням и вздрогнули, закричали. Я сильнее потянул Свежнева за рукав и прошептал одними губами:

— Смотри.

У камней неведомо как оказалось двое недобитых. Они были покрыты с ног до головы грязью, бывшей

недавно белым дождем. На них были армейские шинели и ушанки. Один сидел, прижав колени к груди, и изредка поматывал головой, как лошадь, пытающаяся скинуть шоры; другой лежал, забавно шевеля ногами. Они не разговаривали, не стонали. Мне вдруг радостно показалось, что они, как и я, думают о Сизифе. Они сидели. Мы смотрели, позабыв об автоматах, о возможно начавшейся войне. Мир был — мы и они, да сожженный снег, да бесконечная молодая чистота за нами и за ними, перед нами и перед ними.

Первым опомнился Нефедов. Руки его сжали автомат, палец побежал к курку. Свежнев загадочно шурился. Я потащил Свежнева и Нефедова вниз, за вершину.

— Ты что, спятил? Какой толк? Давай их в плен заберем. Тебе да Кольке наверняка отпуск дадут, другого им ничего не останется. Тебе, Колька, отпуск нужен. Нефед, ты понял?

Свежнев ответил:

— Как хочешь, как хочешь.

Его мутило. Вырвало. Только тут я заметил, что Нефедов зеленый с виду. Он кивнул мне:

— Ты тоже.

Страшная изжога сверлила мои внутренности. Я постарался оглянуться, оглядеться. Ничего не вышло. Выдавил, утерев рукавом шинели какую-то гадость, выступившую на губах:

— Чёрт, руки-ноги валяются. Не кукольный театр. Ладно, пойдем.

Свежнев, подтягиваясь на руках, полез за нами на вершину.

Четверо военных шли к Сизифовым камням. Двое китайцев не пошевелились. Нефедов бездумно поднял автомат на четверых. Я мгновенно согласился с ним: дольше терпеть невозможно! Свежнев успел остановить Нефедова. Я тоже опустил автомат и сразу же

сник под страшной усталостью, охватившей меня и весь мир. Свежнев сказал:

— Это наши идут.

Я безразлично присмотрелся. Это был Чичко с тремя офицерами. Они вступили в область грязи и трупов. Между воротниками шинелей и кокардами выделялись силой отхлынувшей крови лица. Шли не сгибая ног, иногда отшвыривали каблуками осколки китайских тел. Шли не глядя друг на друга. Подошли к Сизифовым камням, вытащили пистолеты и выстрелили каждый по несколько раз в недобитых китайцев: первый перестал качать головой, второй что-то закричал, задергал сильнее ногами, несколько мгновений трудно умирал...

Я тупо подумал, что пропал отпуск у Кольки, эх, пропал. Прошептал еле слышно:

— Вот это да.

Чичко с ребятами собирались уйти, как Свежнев закричал, подчиняясь судьбе:

— Товарищ лейтенант! Всё в порядке?

Они остановились, как в строю, четко повернулись. Молча, будто непонимающе, взглянули на нас. Высоты у сопки было метра три. У Чичко зашевелились губы. Тот, кому зашептал Чичко, шепнул в свою очередь что-то своему товарищу. Этот вытащил из кармана гранату, покатил ее к Сизифовым камням. Затем офицеры легли, а мы спрятались за вершину. Когда звуки разрыва ушли в поисках отзвука, мы подняли головы, выглянули. От двух добитых китайцев оставались грязные лохмотья мяса и обмундирования. Этих китайцев, должно быть, никогда и не было, и никакая мать их не рожала. И остальных не было. Всё — без хлопот. Они не ушли ни в прошлое, ни в будущее, и в настоящем их не было. Их вообще не было. Так я, кажется, говорил Нефедову, пока офицеры шли к нам, а Нефедов мне кивал.

Мы скатились с сопки. С автоматами в руках ждали, только Свежнев закинул его на плечо. Я всё старался осмотреться; поверить в полную реальность увиденного, услышанного, понятого. Удавалось трудно, нудно. Офицеры остановились в трех шагах, по уставу (перевернутому — ибо мы должны были подойти). Чичко спросил обыденным голосом, странно-четко шевеля красными, будто накрашенными губами:

— Что вы здесь делаете?

Я всё смотрел на его красные, раздутые кровью губы. И сразу же обрадовался оттого, что понял: от бледности лица они такие, от сравнения. Тьфу ты, пропасть, несуразица, чертовщина. Пока я по-старушечьи чертыхался, Нефедов ответил:

— На разведку пошли, товарищ лейтенант, неизвестные люди на сопках были.

— Кто приказал?

— Оставшийся старший по званию.

— Кто?

— Младший сержант Мальцев.

Возразить Чичко было нечего. Он и не пытался, против устава не попрешь. Чичко открыл было рот — и остановился. Стоящий между мной и Нефедовым Свежнев смотрел на Чичко и его друзей широко, как ставни, открытыми глазами, в которых было столько презрения и еще чего-то непонятого, но ужасного — быть может именно в силу этой непонятности — что они онемели, съезжились. От лица к лицу прошла волна злобы. Они оживали. Один из них, с погонами старшего лейтенанта, фальцетом закричал:

— Как стоишь?! Смирно!

Свежнев с такой наглой легкостью и разворотом плеч выполнил приказ, что казалось — плюнул на них высокомерно и лениво. Чичко задрожал, зашипел:

— Чего глядишь, сволочь. Контра! Я тебя знаю, ты, может, границу хотел перейти, к своим. А? Преда-

тель родины! Выб...! И как мать твоя, стерва, тебя родила!

Свежнев рванулся. Я успел схватить его за шиворот. Костяшки его пальцев замелькали быстро-быстро, дробя насыщенный жжением, молчанием мертвых, Колиным гневом воздух. Свежнев разжал пальцы, чуть задел лейтенанта по носу. Чичко отскочил. Его ребята схватились за пистолеты. Руки замерли на рукоятках: на них в упор глядели два автомата, мой и Нефедова. Вероятно, наши лица не выражали ничего утешительного. Они поняли: здесь не найдется третейского судьи. Они отступали пятясь, молча, старой дорогой, спотыкаясь о трупы. И тут только острой болью вошло из подсознания в сознание сожаление, что Нефедов не убил давеча этих четверых. Я тогда не знал, что жалеть об этом буду всю жизнь.

Возвращались неосторожно, не глядя по сторонам. Быблев нервничал, рвал рычаги управления. Он не вскинул автомата, предпочел ждать и сомневаться. Весел был только Свежнев — он читал стихи.

Батарея была на прежнем месте. Начальства всё не было. Нас окружили, старались неистовым любопытством заглушить в себе голод, проклятия ветру, поднявшемуся с востока, режущему щеки, доброту к себе и к себе подобным.

— Ну что? Как там?

Ответил Нефедов с мраком в словах:

— Всё. Всех кончили. Ни один не ушел.

Раздался гогот.

— А их там много полегло?

— Сказал ведь, все полегли, все тысячи.

— Так им и надо!

Парень, сказавший это, добавил старую, как мир, фразу с обычным для нее ожесточением:

— За что боролись — на то и напоролись!

Воздух гнал на запад вечерние тучи, когда подкативший комбат отдал приказ об отбое. Чичко и три

его дружка на позиции батареи не вернулись. Тягачи строились в две колонны, брали нужный интервал, спешили домой в артпарк. Ветер всё сек наши обожженные лица, уже нечувствительные от этого постоянного жжения, уже скучные ушедшим удивлением, удалившимся чувством бессмертия, которое рождается в молодом солдате, убивающем врага на расстоянии.

До вечерней поверки личный состав части, пришедший с поля, ругал кухонный наряд, не уважающий советскую власть и потому дающий остывший ужин. Ругались беззлобно, зная, что устав есть устав, распорядок дня — распорядок дня. К этому добавить было нечего и незачем. Едва свет ушел из ламп, из глоток вырвался и растянулся на всю ночь храп, обычный для очень усталого человека. Только под утро ко многим пришли страшные сны, о которых, проснувшись, они забыли.

Три последующих дня Свежнев молчал или бормотал стихи. Три последующих дня ходил по территории части Чичко с чудовишно распухшим носом, разбитыми губами, окровавленным ухом. Я, повинувшись непонятному голосу во мне, вопиющему о защите от самого себя, напросился в караул.

Из секретки штаба полка просочились сведения, что был дан приказ из самой что ни есть Москвы — пленных не брать, дабы отучить китайских братьев переходить неприкосновенную государственную границу Союза Советских Социалистических Республик.

На четвертый день утром у дальнего гальяона, который Коля предпочитал другим по причине относительной чистоты — арестовали Свежнева.

После завтрака, сдав обязанности разводящего, я было углубился в сон, не обладающий памятью, когда меня потряс за сапоги Нефедов.

— Святослав! Слушай: ефрейтора Свежнева арестовали. Слышишь? Ефрейтора Свежнева арестовали!

Я медленно перевернулся на топчане с правого бока на спину. Спросил:

— Почему это ты называешь Колю ефрейтором Свежневым?

Я не увидел в темноте помещения для отдыхающей смены смущения Нефедова:

— Не знаю... Слушай! Колю взяли, судить будут. Недаром Чичко ходил с разбитой мордой. Интересно, кто из его же ребят так его разделал? Или разбил себе самому морду, чтобы Колю посадить! Кто бы мог подумать.

Нефедов уставился на меня:

— Как ты думаешь, нас с тобой тоже посадят? Свидетельствовать-то будут те трое, все — офицеры, все — члены партии. Да и пальцем-то Коля всё же его задел... Скажи честно, Святослав, чтобы я знал: за что хотят посадить Свежнева?

Я чувствовал, как бегают в орбитах мои глаза. Нефедов будет свидетелем... Да, Нефедов будет свидетелем на суде. Ответил:

— Не знаю. Может быть, ни за что.

Нефедов удивился широким движением крупного тела:

— Ни за что — не сажают.

Я старался разглядеть его лицо. Было слишком темно. И я заставил себя подумать, что переубедить Нефедова невозможно, да и невыгодно... да и кому нужно? Я промолчал. Кругом на топчанах спали солдаты. Их разбудить не мог никакой шум, кроме крика: подъем! Есть знания, которые окаменевают в мозгу.

Нефедов не мог остановиться:

— Берегись бед, пока их нет. Она пришла. Один Быблев отделался!

— Как так?

— Чичко сказал, что его с нами не было, что он остался при тягаче. Почему он так сказал?

Я чувствовал, как бухнет в глубине моего тела ненависть. Усмехнулся грязно в лицо Нефедову:

— Почему? А ты, маленький, не понимаешь? Хочешь, чтобы старшие товарищи тебе объяснили? Почему? А потому, что они на Быблева не рассчитывают. Он не соврет, ежели на суде выступит. Они знают, что ему его вера помешает. Знают, что он может произвести впечатление своей искренностью, своей беззлой убедительностью. На тебя же, голубчик, они рассчитывают.

Нефедов отчужденным голосом спросил:

— А на тебя они тоже могут рассчитывать?

Что я мог ему ответить в этом мире, становящемся, в зависимости от освещения, то правдой, то ложью. Оставалось вслепую схватиться за воспоминание об утраченной чести.

— Да. Могут.

Нефедов положил мне руку на плечо:

— До чего же паршиво. Кольке не выбраться. Мы же — сможем. Он не должен нас винить. Был бы хоть шанс... нет его. Ты согласен?

— Да.

Я изумленно почувствовал твердость своего голоса. Нефедов ушел.

Я остался сидеть на топчане. С наслаждением ссутулился, с радостью почувствовал себя жалким и беспомощным. Рядом, где-то за стеной, сидел Свежнев, близкий до боли, до коротких спазмов в горле. Так, полусогнутый, встал и вышел во двор караульного помещения. Не тропинка-тупик, а вся дорога, проложенная днями жизни, легла на плечи глупым тупиком, которому нет и не будет конца. Бесконечный тупик жизни. Захотелось долго и бездумно выругаться. Но ветер принес влажное молодое тепло, и я поднял голову. Была весна вокруг, цветущая грязью, кричащая неожиданностью своего появления. Желто-белые и тяжелые, как груди кормящей матери, ползли в сто-

рону хода солнца тучи. Как искра, появилось во мне чувство испуга, словно тащил меня в свою камеру от этой весны Свежнев.

В камеру к Коле я не пошел. Передал через часового сигареты, сгущенное молоко.

Шел обед, когда парторг полка Рубинчик вошел в столовую караульного помещения. Как старший по званию, я вскочил:

— Встать! Смирно! Товарищ подполковник...

Намазанные насмешкой глаза его блеснули:

— Вольно!

Терпеливо дождавшись окончания принятия пищи личным составом, парторг приказал:

— Всем, кроме младшего сержанта Мальцева, покинуть помещение.

Лицо его в опустевшей столовой стало из бесстрастно-парторжьюго злым и злорадным. Никогда еще нависшая надо мной угроза не была так готова воплотиться в дело. И всё же я был спокоен, как фаталист. Первый вопрос Рубинчика я знал заранее, едва расслышав его ехидное:

— Вы уже навевались к своему другу Свежневу?

— Никак нет, товарищ подполковник, не привык во время выполнения боевого задания, каковым является караульная служба, отвлекаться от дела.

Парторг задвигал челюстью, словно жевал неподатливую мысль. Я не мог не отвечать насмешливым презрением на его ехидную злобу.

— Как же так, Мальцев, вышло? Как плохо, а?

— Так точно, плохо.

— Как же всё произошло?

Это было странной провокацией. Неужели, подумалось, он так низко пал, чтобы надеяться взять меня так просто. Да и зачем? Он прекрасно знает, что есть черта, за которую я не переступлю, не могу переступить: я не смогу оклеветать Колю в трибунале. А

если он не знает, что не смогу? Я быстро шагнул к двери. Коротким рывком приотворил ее. Стукачей не было. Рубинчик улыбался, розовея в скулах.

— Вы прекрасно знаете, товарищ подполковник, как всё произошло.

— Конечно. Мне только искренне жаль, что Свеженев, а не вы, Мальцев, зверски избили лейтенанта Чичко во время выполнения боевого задания. Жаль. — Парторг розовел на глазах. — Да. Жаль. И вот что, Мальцев, если вы по состоянию здоровья или по другой столь же уважительной причине не сможете явиться в трибунал... — Он с трудом говорил... ему не хотелось говорить. — ...то мы не будем настаивать.

Во мне сжалось в комок нечто сильнее изумления.

— Кстати, — вновь прожевав не то мысль, не то ярость, продолжил Рубинчик, — после караула зайдите в штаб... Вами интересуется канцелярия маршала Якубовского. Спрашивает: останетесь ли после службы у нас в СССР или поедете на Запад... Я бы нашел, что у тебя спросить и куда тебя послать... Жаль, Мальцев, жаль.

Он вышел, видимо понимая, что перестает владеть своими чувствами.

Я долго сидел, мям щеку, сведенную судорогой. Мне вновь везло. Только благодаря ходатайствам матери в Москве мне дали отпуск. Последующие ее хлопоты уже из Франции породили это письмо маршала Якубовского. Ни Молчи-Молчи, ни Рубинчик не решились меня посадить. Было бы слишком много шума. Москва всю ответственность свалила бы сразу на спины моих непосредственных начальников. Москве было бы неприятно слушать жалобы французских инстанций, а покровским командирам пришлось бы долго и трудно расхлебывать эти жалобы, эту кашу, которую, как сказала бы Москва, они заварили сами. Ни Рубинчик, ни я не знали, что никто бы не стал жаловаться, не стал бы писать в ООН, президенту Помпиду, Бреж-

неву. Ни Рубинчик, ни я не знали, что вот уже три недели, как нет в живых Мальцевой, что мать моя закончила в Париже жизнь банальнейшим самоубийством.

После караула зашел в штаб. Рубинчик и замполит полка Драгаев с полчаса уговаривали письменно выразить желание остаться после службы в нашем советском отечестве. Уговаривали, как всегда, угрозами. Их ругань была бессильной, была острой приправой к моей довольной уверенности в завтрашнем дне. Я написал на бланке, присланном из канцелярии маршала Якубовского:

«По семейным обстоятельствам буду вынужден покинуть пределы Советского Союза».

Это было ложью. У меня уже не было семьи и ничего, кроме рождения, что связывало бы меня с Францией и с ослепительно заманчивой свободой.

Идя в казарму, остановился, обнял первое попавшееся дерево. Оно было тощим и слегка пованивало своей освобожденной весной старостью. Прижавшись щекой к грязному стволу, чувствовал дрожь тела, бьющегося в тихом припадке трусливой радости. Страшно было идти в казарму, оставив за спиной молчащего Свежнева. Свернув, пошел на губу, стараясь заглушить в себе всякую мысль и всякое чувство. Свежневу отвели лучшую камеру гауптвахты. Как подследственному, ему внесли в камеру койку, тумбочку, простыни, наволочку и книгу для политучебы «На страже Родины». Подкатив камень к стене, стал на него. Сверху смотрели спокойные глаза Свежнева. Он был бледен, выражение лица было напряженно думающим. Сказал:

— Ну что, будешь меня судить?

— Нет.

Он не выразил удивления.

— Значит, не будешь свидетелем?

— Нет.

— А Быблев?

— Нет. Они сказали, что его с нами не было, что остался при тягаче.

— Правильно сделали, что сказали. Значит, один Нефедов. Так. Зачем пришел?

— Чтобы сказать.

— Вот ты и сказал. Я тоже хочу тебе сказать: ты самая последняя сволочь, какую я видел в жизни. Надеюсь, что никогда больше не увижу тебя. Таким, как ты, нельзя прощать. Даже если бы хотел, не имел бы права перед собой и своей совестью. Не только совестью. Я знаю, такие, как ты, будут самыми яростными противниками нашего будущего демократического социализма, врагами, скользкими и липкими, не явными. Но так уж вышло, что кроме тебя, мне просить не у кого. Послушай, у меня в матраце стихи. Сохрани их, а если не можешь, уничтожь. Обещаешь?

— Обещаю.

Не меня выражения лица, сказал мне Свежнев последние слова брезгливо:

— Теперь иди. Здесь мне три дня осталось сидеть. Не приходи больше. Ты мне противен.

Я ушел сразу и молча. Меря быстрыми шагами плац, вскидывал голову к начавшей капать весне. Бродили, как хмель, радостно и нервно мысли: «Суший ребенок, готов за застрявшие в черепе мысли отдать всё лишь потому, что они опасны, таинственны и громадны, как всякая утопия. И за этого никому не нужного ребенка я был готов пожертвовать своей свободой, был готов не переступить...»

За день до трибунала пошел в медчасть. Палата была свежевыбеленной, под одеялами прятались в лениности тела, ожидающие демобилизации. Пнув бли-

жайшего больного или симулянта (кто разберет?) в бок, спросил:

— Проснись, притвора. Я тебе что, мединспекция из дивизии?! Отвечай, майор где?

Показалась распухшая злая физиономия:

— Сам ты притвора. У меня, может, черная болезнь, откуда ты знаешь? Я, может, щас взрываться буду...

— Балаболка.

— ...Нет начальничка, нетути. В Гагры отъехал, к солнышку. Лейтенант тут... — со злым весельем глаза парня смягчились, подобрели. — Жаль его. Вот уж кто болен.

— Себя пожалей.

Парень не ответил, нырнул под одеяло.

Волошин был в своем кабинете. Лицо отливало желтизной, мышцы скул были мягки, глаза слегка косили. Увидев меня, вошедшего без стука, по-девичьи захихикал:

— А-а... умелец жить. Здравствуй, Мальцев, здравствуй. Присаживайся. Дам-ка я тебе единственного лекарства для души, этак грамм двести.

Кривляясь, поднялся с места, забулькал пузырьком спирта.

— Знаешь, Мальцев, последовал я твоему мудрому совету. Жалеют меня, тонкокишечным обзывают. Гляди и отпустят меня на волю через годик-другой. Тебе буду обязан. Отсажу на гражданке свое в алкогольном, а там и место фельдшера для меня отыщется. А ты чего такой хмурый, знаток нашего бытия? Ах, слышал. Слыхано. Знаю Свежнева. Хороший парень. Правда?

— Правда.

— Да. Трудно поверить, что он мог подобное сделать... Нет, нет, ничего не говори. Лучший способ не проболтаться — ничего не знать.

— Мне нечего сказать.

Лейтенант дернул уголком щеки:

— Мальцев, посмотри на меня: желтое лицо, слабый рот. А знаешь, кажется мне часто, что гляжу на нездоровый одутловатый мир глазами во все лицо и говорю кому-то или чему-то: понимаешь, лежу ночью и днем, вокруг меня множество глаз, насмешливых, злых, полных желчи... кривые... всякие. И так хочется власти силы, чтобы сказать им твердо: бойтесь меня. Вот ведь как.

— Ничего, выздоровеешь.

Лейтенант постарался придать своим глазам твердость:

— На себя надеешься, Мальцев, на силу одиночества. Слышал я, что ты везучий... Так чего ты хочешь?

— Лечь на несколько дней. Вы же знаете, я никогда симулянтом не был. Теперь мне нужно.

Волошин тихо ахнул:

— Но ведь ты... вон оно что... Не мне тебя судить. Приходи завтра утром. Воспаление легких подходит?

— Подходит.

Был субботний день. В казарме готовились к танцам. От беззаботности ребят, их веселья и прибауток было больно. Они умели делать свою радость быстро-течно полной, мгновенно суживать границы надежд. Они любили сбывающееся. Тонкая простота была им не нужна. В тонкой простоте живет опасная ясность.

На дворе за утоптанными дорожками, за плацем и артпарком беременела весной земля. Непопородная, она заманчиво для крестьянина манила своей чернотой, лгала цветами, ласковостью. Я долго, стараясь добродушно улыбаться, глядел на нее в тот день с высоты ствола в артпарке. Смотрел долго, пока не вспомнил о стихах Свежнева, зашитых в матрац.

Через несколько дней после трибунала меня навестил в медчасти Нефедов. Все эти дни я никого ни о

чем не спрашивал. И никто со мной ни о чем не говорил. Большую часть времени я спал.

— Семь лет дали.

Это сказал Нефедов. Они дали слишком много. Даже несправедливость должна была остановиться ранее. Почему семь? Почему не шесть или восемь? Они спокойно собирали года по различным статьям различных законов. Я мял свое лицо, пока Нефедов не схватил меня за руки:

— Они все там были: Рубинчик, Чичко... все.

— А Молчи-Молчи?

— Сидел в углу паинькой. При чем тут он?

При чем тут он? Стало душно в палате, захотелось разорвать на горле несуществующий ворот гимнастерки. Рванул нательное белье — оно тихо расплзлось.

— А ты что там делал?

Нефедов не шевельнулся, ответил не задумываясь:

— Молчал. Как ты здесь. Знаешь, я просил, чтобы меня перевели в другой взвод. Отказали.

— Ты меня так ненавидишь?

Нефедов отпустил мои руки.

— Как ты можешь так думать. Я просто подумал, что мне будет тяжело на тебя смотреть. И тебе на меня.

— Как там было?

Мой голос заикался, дрожал.

— Как по нотам. Начали с покушения на убийство. Затем снизились до оскорбления мундира, желания искалечить советского офицера в боевой обстановке. Или что-то в этом роде. Одним словом — каша. Зачитывали характеристики из Новосибирска и вашей учебки в Сергеевке. Они ими обрисовали аморальный облик Коли. И дали ему на всю катушку. Семь. Семь лет!

— Замолчи!

Не замечая, я орал на всю палату. Нефедов зажал мне рукой рот.

— Спокойно. Я тебя понимаю. Но Быблеву еще хуже, чем нам. Он говорит, что дело не только в Свежнев...

Почувствовав рыхлость моих плеч, Нефедов отпустил мой рот.

— ...Быблев много мне говорил о тех двух китайцах.

— И что же, Быблев всё мучается и сомневается?

Я радостно отметил издевку в произнесенных мною словах. Нефедов пожал плечами:

— Не знаю. Молится, наверно. Нам с тобой, мне думается, вполне достаточно Коли.

Я ответил ему искренне и просто:

— Вполне.

Через день Волошин, молча пожав мою руку, выписал перенесшего воспаление легких младшего сержанта Мальцева.

Койка Свежнева не была занята. Ночью, избегая неприятного разговора с дневальным, подполз к ней, распорол матрац, нащупал Колины стихи. Накинув на плечи шинель, вышел из казармы. Ночь не дышала покоем. Растения жадно набирали соки, на деревьях дрались птицы.

Кочегарка пылко дышала жаром. Только войдя, понял, куда шел. На широкой лавке, свернувшись калачиком, беззвучно спала Валентина. Мои шаги слегка ее потревожили: она приподнялась, большими кулаками нежно потерла глаза, лишенные вокруг всякой растительности, и вновь ушла в самое сладкое из беззвучий. Мне не хотелось забыться, уйти в мечту или в воспоминание.

Семь лет. Нет, глупо играть там, где для власти слово означает действие. Уходит Свежнев. Ум рассчитывает, а язык повторяет: он был. Я открыл заслонку, стал бросать по одному в белую жару

исписанные в столбик листки. Иногда украдкой от себя опускал на них глаза.

Домик хмурый,
совсем простой,
день окружает серый,
наполненный суетой
и потускневшей верой...

Томилась жизнь у ног и в небесах,
На новые холмы кресты тащились,
Чтобы по-старому на них крестились,
Забыв о том, что разлетелось в прах...

Швырнув в огонь последний листок, захлопнул заслонку. Растерянно поглядев на черноту железа, вновь открыл ее и, чувствуя боль огня на пальцах, неуклюже положил на раскаленные камни шелковую ленту, которой Свежнев завязал свои стихи. Такими лентами обычно перевязывают коробки шоколадных конфет. Вновь перед глазами оказалось черное железо заслонки. Мне стало неуютно и страшно. Не Рубинчик, не Чичко пугали, эти живые и темпераментные люди. Молчи-Молчи. Его простое лицо, с которым он выполнял свою простую работу. Плохо мне было в этом мире. На лавке, бесшумно причмокивая губами, спала Валентина. В углу трава, не зная зачем, старалась жить, напирая своей молодой силой на кочегарку. Хотела продолжать свой род трав. Беззаботность жизни вызывала раздражение.

Дни не оказались жадными к событиям. Разве что неизвестно откуда приползшее известие о выставлении на одной из пекинских площадей нашего подбитого

танка вызвало в части яркую вспышку ненависти к соседям, а во мне — приятное воспоминание об обезображенных трупах на сгоревшей земле.

Пришло лето, потное, удушьем нависала влага в неподвижном воздухе. Вновь гимнастерки оттопыривались на груди и спине соляными панцырями. Вновь чирьи бросались на лица. Вновь самым страшным наказанием становилось мытье гальюнов, смрадных, полных жадных зеленых мух.

Кухонному наряду было уже не привыкать к запаху разлагающихся остатков пищи. Из санчасти пришел приказ мыть полы в столовой. Быблев вытащил свой жребий, взял в руки тряпку и ведро. Тяжелые столешницы ставили на попа. Кто опускался на корточки, вода грязной тряпкой по грязному полу, кто от безразличия или для удобства становился на колени и так передвигался, волоча за собой расплескивающееся ведро. Обычно столы, стоящие на попа, обходили, вода тряпкой вокруг. Грязные места затем покрывались опускающимися столами.

Никто не узнает, что произошло. Стол, стоявший на попа, перестал стоять. Переставая, он убил Быблева.

Прибежав на крики, я увидел Нефедова, несущего на руках Быблева. Голова его была красной и проломленной. Он еще жил, шевеля кистями рук, но не мог или не желал говорить о своей жизни словами. Когда Нефедов внес Быблева в санчасть, тот был мертв.

В тот день смена кухонного наряда не придиралась к нашей работе. Следствие быстро завершилось. На Быблева натянули его дембельский мундир, который он лелеял, представляя, как появится в нем на пороге своего дома. И еще он хотел, чтобы ему там, дома, подарили доцветающие поздние розы.

Быблев не получил и прощальных залпов. На кладбище заплакал Нефедов:

— Что же это такое? Его-то за что?

Мне же хотелось прочесть про себя (а значит и Быблеву) тот стишок Свежнева, который я сжег давным-давно, который давно забыл там Коля, который помню только я один. Но я не прочел его про себя, я только сказал Нефедову:

— ...И не нашлось тебе, Быблев, листвяка на крест. Не нашлось потому, что не могло найтись. Вот тебе и весь сказ.

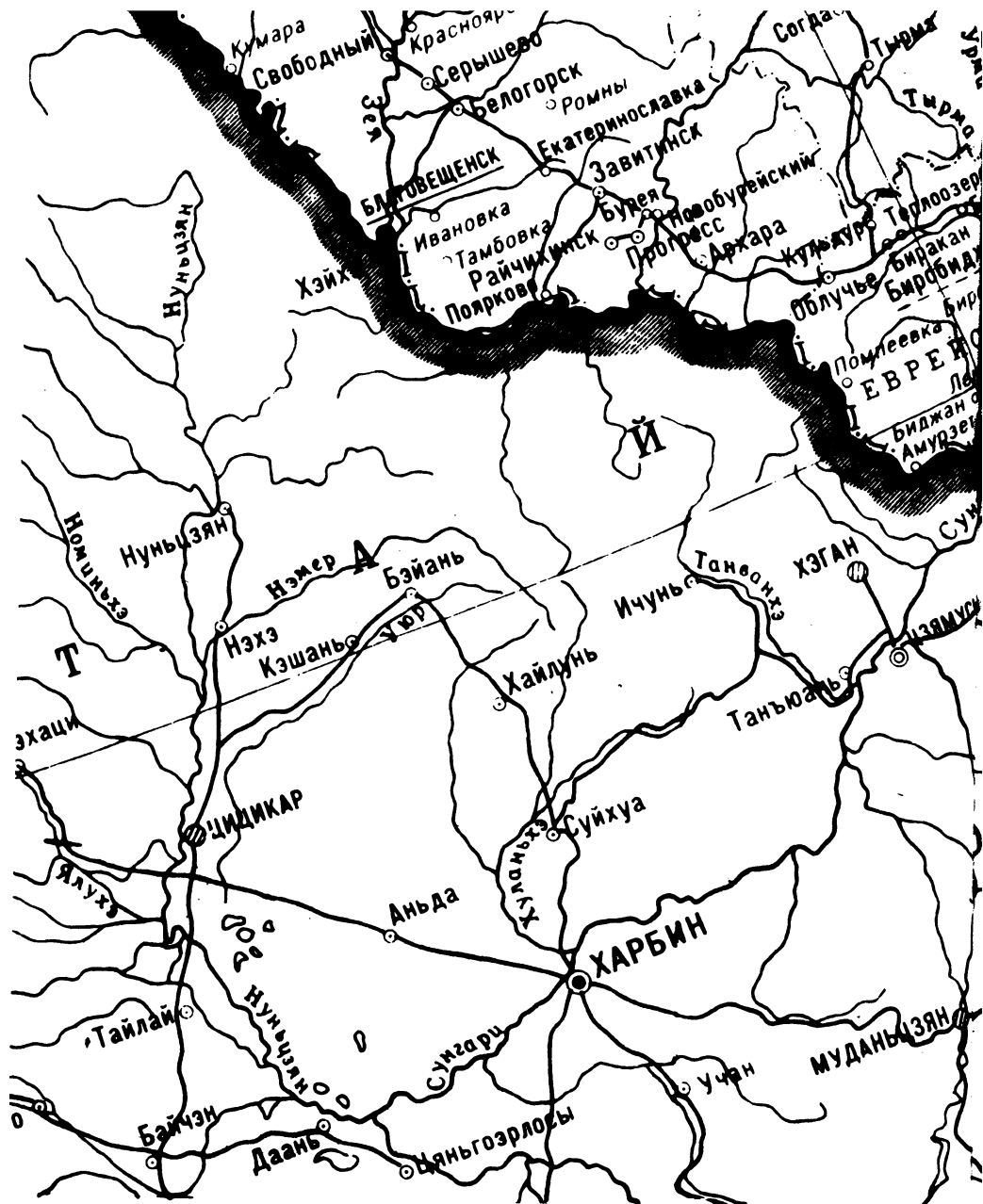
Нефедов толкнул меня. Я упал.

— Уйди ты, железный!

Я ушел.

Взбираясь на сопку, я понял свое спокойствие. Быблев, как и Свежнев, был обречен. Он был сомневающимся и не любил сбывающееся.

Я стоял на теневом склоне, жмурясь, медленно светлея, будто не мечтой, а в яви телесного образа перенесся туда, где живет наименьшее зло на земле.



Дальневосточная граница с Китаем — место действия романа

